



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.

OP

BELYIA ZARNITSY

K. D. Bal'mont

UNIVERSITY MICROFILMS, INC.

*A Subsidiary of Xerox Corporation
Ann Arbor*

XEROX



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

$$\frac{87853}{8143}$$

**This "O-P Book" is an Authorized Reprint of the
Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography
by University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1967**

Bal'mont, K.D.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ

Б Ъ Л Ы Я ЗАРНИЦЫ

МЫСЛИ И ВПЕЧАТЛѢНІЯ

к 87453
098143

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ИЗДАНИЕ М. В. ПИРОЖКОВА

1908

КЕ

ORDER DEPARTMENT
UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

ORDER NO.

C61203748

FUND:

ISA

B91525

Bal'mont, Konstantin Dmitrievich.

Bielya zarnitsi; misli i vpechat-
lenia.
Mpb., 1908.

MICROFILM FOR COPYFLO

Columbia U.

CAT. & ITEM:

ORDER 5-18-60



THIS IS A PURCHASE ORDER - SEE OTHER SIDE FOR INSTRUCTIONS

91.7B21

5

Bal'mont, Konstantin Dmitrievich, 1867-1943.
Бѣлая зарница; мысли и впечатлѣнія. С.-Пе-
тербургъ, Изданіе М. В. Пирожкова, 1908.
217 p.

Title transliterated; Belyia zarnitsy.

I. Belyia zarnitsy.



891.7821

05

Типографія Ф. Вайсберга и П. Гершунина. Екатерин. кан., № 71—6.

MAR 2 1948 OT

ОГЛАВЛЕНІЕ

	СТРАН.
Избранникъ Земли	1
Поэзія Стихіі	13
Пѣвецъ личности и жизни	59
Поэзія Борьбы	85
Объ Уайльдѣ	135
Тайна одиночества и смерти	143
Символизмъ народныхъ повѣрій	163
Флейты изъ человѣческихъ костей	175

Избранникъ Земли

(Памяти Гёте)

К. Д. БАЛЬМОНТЪ

1

Въ садахъ пробужденной Земли
Цвѣты расцвѣли, отцвѣли.
Но былъ ей одинъ всѣхъ милѣе:
Избранникъ зеленой Земли,
Онъ вѣчно живетъ, зеленѣя.

Б***.

Приближаясь къ Океану, можешь думать только о немъ, и если даже, въ тайнѣ души, любишь сильнѣе не Море, а горы,—не помнишь о горахъ, когда вокругъ тебя шумитъ безконечная равнина водъ, обтекающихъ Землю.

Проходя гдѣ-нибудь по густому лѣсу, среди вѣковыхъ деревьевъ, вершины которыхъ гудятъ подъ вѣтромъ, протяжнымъ шумомъ, подобнымъ гулу морского прибоя,—забываешь о томъ, что есть пѣніе музыки, сочетанія струнныхъ инструментовъ.

Приближаясь къ Гѣте, видишь царственную фигуру, заслоняющую всѣхъ другихъ любимыхъ тобой,—чувствуешь цѣльность, которая поглощаетъ все твое вниманіе и радуется своимъ духовнымъ спокойствіемъ.

Сконцентрированная буря, сознающая себя и со всѣхъ сторонъ окруженная громадной сферой без-

вѣтрія—вотъ точное опредѣленіе Гётевскаго паюса, чуждаго тому, другому, стелящему, острому и большому, которымъ полны современныя души.

Мы видимъ здѣсь предѣльный типъ законченной художественной натуры, нашедшей идеальное свое воплощеніе, быть можетъ, только дважды среди обширнаго сонма художниковъ и поэтовъ. Я разумѣю подъ вторымъ—уравновѣшеннаго генія Возрожденной Италіи, Леонардо да Винчи, бывшаго одновременно и художникомъ, и анатомомъ, и физикомъ, и архитекторомъ, и даже музыкантомъ.

Многое связываетъ воедино двухъ этихъ создателей разныхъ эпохъ, дѣлаетъ ихъ двумя различными воплощеніями одного и того же типа: всесторонность личности, жаждущей всезнанія, мощь самобытныхъ творческихъ захватовъ, планомѣрность развитія, гениальная отрѣшенность отъ рамокъ добра и зла, и это гармоничное сліяніе красоты внѣшней и внутренней, и эта исключительная любовь къ Землѣ при полной ихъ побѣдѣ надъ земнымъ. И Винчи и Гёте были полубогами. И Винчи и Гёте смотрѣли на Землю, какъ на собственное свое царство, ликъ котораго они измѣнили, не колеблясь и не уставая. За то Земля и любила ихъ какъ своихъ первородныхъ сыновъ, получающихъ раньше другихъ возможность дышать и способность видѣть. Земля кинула ихъ жизни въ свѣтлую полосу, и если есть души, которыхъ всегда, какъ героиню Эдды, Брингильду, уносятъ *волны несчастія*, есть другія, которія свѣтлымъ потокомъ всегда приби-

ваеть къ цвѣтушимъ островамъ. Къ такимъ душамъ, когда путь ихъ завершёнъ, примѣнимы ритмическія строки:

Я слышалъ о свѣтломъ героѣ,
Свободномъ отъ всякихъ желаній,
О немъ, перешедшемъ потокъ.
Въ лучистомъ застыль онъ покоѣ,
Покинувъ нашъ міръ восклицаній
Для славы несозданныхъ строкъ.
Въ разрывахъ глубокой лазури,
Въ краю отодвинутой дали,
Съ нимъ тайно колдуетъ Судьба.
Къ нему не притронутся бури,
Его не коснутся печали,
Ему незнакома борьба.
Съ безмерной загадкой во взорѣ,
Онъ висится гдѣ-то надъ нами,
Въ душѣ отразивъ небосводъ.
Въ высоко-митущемся Морѣ
Онъ островъ, забытый вѣтрами,
Среди успокоенныхъ водъ.

Вся долгая жизнь Гёте, ея виѣшнія обстоятельство и ея внутреннія теченія отмѣчены благосклонностью Судьбы. Родившись въ богатой семьѣ, онъ былъ въ ней маленькимъ принцемъ. Его дѣтство все озарено золотыми лучами Солнца, которые казались вдвойнѣ роскошными, потому что они падали на шелкъ и бархатъ. Его юность—юность сказочнаго царевича: онъ красивъ, уменъ, и одаренъ; для него растутъ и блистаютъ все новыя деревья и цвѣты; для него расцвѣтаютъ улыбки и румянецъ смущенія на женскихъ лицахъ. Его геній пресы-

пается рано и умираетъ вмѣстѣ съ нимъ, развиваясь пышно и легко, безъ болѣзненныхъ измѣнъ и безъ горькихъ паденій. Родная литература открываетъ для него широкое пустынное поле, и ему, не связанному предками, выпадаетъ лучшая радость быть создателемъ литературы своей страны. Ясность и простота его кристальныхъ созданій быстро обезпечиваютъ его славу, и ему не приходится утѣшать себя, что его поймутъ потомки. Могучая стойкость здоровья и кипѣніе всего жизнерадостнаго существа его были такъ велики, что въ семьдесятъ лѣтъ онъ могъ увлекаться изученіемъ Арабскаго языка—и девятнадцатилѣтней Ульрикой фонъ Левецовъ. Это—въ семьдесятъ лѣтъ,—что же было, когда въ глазахъ поэта таилось еще больше огня, когда въ его сновидѣніяхъ было прозрачное лѣто? Его трудовая жизнь была непрекращающимся праздникомъ, и когда 82 лѣтъ онъ умеръ,—не умеръ, а безболѣзненно уснулъ,—Эккерманъ, стоя у смертнаго одра его, любовался его почти столѣтнимъ тѣломъ, прекраснымъ и правильнымъ, какъ статуя, безъ малѣйшаго утолщенія, безъ малѣйшаго исхуданія. Такъ умирали въ древности, такъ будутъ умирать въ грядущемъ, оглядываясь на завершенность пути, и не терзаясь ни страхомъ ни раскаяніемъ.

То, что сдѣлалъ Гёте для Германіи, и не только для Германіи, а для всего міра, по значительности и широкому объему какъ будто превышаетъ единичныя силы. Нѣмецкая литература, чахлая до него, была вознесена имъ на степенъ первоклассной. И

въ различныхъ ея областяхъ онъ одинаково—пересоздатель и созидатель. Въ любовной лирикѣ и въ балладахъ, онъ, въ замѣну ложныхъ образцовъ, идеально возсоздаетъ духъ Германскаго народа. Въ пантеистическихъ стихотвореніяхъ онъ указываетъ людямъ на стройное единство Мірозданія. Въ „Гёцъ“, возбудившемъ сразу всеобщій восторгъ, онъ возсоздалъ родную старину и началъ въ Нѣмецкой литературѣ новое теченіе, полное освободительныхъ стремленій. Въ „Вертеръ“ онъ создалъ романтическую поэму, которую мы всегда будемъ читать въ юности. Въ такихъ поэмахъ, какъ „Сатиръ“ и „Прометей“ (3-й отрывокъ), въ желѣзныхъ строкахъ, имъ закрѣплены титаническіе порывы человѣческой души. Въ романѣ „Избирательное Сродство“, недостаточно извѣстномъ большой публикѣ, онъ создалъ настоящій современный романъ, основанный на душевно-тѣлесномъ разсмотрѣніи любви, прежде чѣмъ это сдѣлалъ Флоберъ въ „Madame Bovary“ и Левъ Толстой въ „Аннѣ Карениной“. Наконецъ, въ „Фаустъ“ онъ написалъ поэму всего XIX-го вѣка.

Этого было бы достаточно для нѣсколькихъ писателей, чтобы пріобрѣсти справедливую славу. Но этого недостаточно, чтобы стать избранникомъ Земли, который высится надъ вѣками, какъ свѣтлый примѣръ совершенства. Если бы Гёте написалъ только свои поэтическія произведенія,—онъ былъ бы гениальнымъ писателемъ, какіе есть въ каждой странѣ. А между тѣмъ онъ является единственнымъ

поэтомъ, достигшимъ идеальной красоты цѣльности, и въ смыслѣ *совершенства типическаго*, какъ художественная натура, онъ превосходитъ всѣхъ поэтовъ, хотя по силѣ таланта онъ значительно уступаетъ и Шекспиру и Кальдерону.

У Гёте была разносторонняя и жадная душа. Онъ не могъ удовлетвориться одной поэзіей. Увлекаемая зрѣлищами, онъ руководилъ театромъ, вводя въ него новые элементы; онъ писалъ превосходныя критическія статьи, оказавшія большое вліяніе; онъ не боялся унизить свой геній, переводя Бенвенуто Челлини. Онъ былъ неутомимымъ естествоиспытателемъ, и его заслуги въ этой области настолько велики, что нѣкій ревнитель строгаго знанія однажды сказалъ: „Этотъ законъ установленъ Вольфгангомъ Гёте, который писалъ и стихи“. Въ исторіи первоначальной разработки эволюціонной теоріи имя Гёте стоитъ рядомъ съ именами Ламарка и Дарвина. Морфологія и остеологія, минералогія и геологія одинаково привлекаютъ его вниманіе. Онъ занимается нумизматикой и метеорологіей, онъ изучаетъ философію и Итальянскую живопись, онъ съ любопытствомъ заглядываетъ въ Китайскую литературу, онъ пишетъ о краскахъ работу, которая поражаетъ Шопенгауэра. Въ то время какъ Гётевскій Мефистофель является духомъ, который вѣчно отрицаетъ и, какъ замѣчаетъ чуткая Гретхенъ, ни въ чемъ не принимаетъ сердечнаго участія, самъ Гёте является живой противоположностью своего безсильнаго дьявола. Все узнать, все понять, все

обнять—вотъ истинный лозунгъ, достойный Uebermensch'a,—слово, которое Гёте употреблялъ раньше Ницше и съ ббльшимъ правомъ.

Смотря, какъ Солнце, на цѣлый міръ, и любя, какъ Солнце, все, Гёте достигъ въ своей личности гармонической соразмѣрности частей, осуществилъ въ себѣ такую красоту, которая не боится дневного свѣта, а избираетъ его, какъ свою блестящую раму. Но неистощимый, какъ Земля, вѣчно склонная къ разнообразію, онъ любитъ и тьму, только его ночь—не наши осеннія ночи: его ночь полна легкаго сумрака, напоминающаго то теплыя ночи Италіи, то бѣлыя ночи Сѣвера.

Такъ увѣренно и гордо достигнувъ своей цѣльности. Гёте именно этой чертой отличается отъ другихъ поэтовъ. Ихъ много,—прекрасныхъ,—и ихъ всѣхъ можно опредѣлить, слѣдуя основной ихъ особенности. О Шекспирѣ кто-то сказалъ, что это цѣлый континентъ. О Марло можно сказать, что онъ—воплощенное властолюбіе. Кальдеронъ—многоцвѣтенъ, какъ Индійская лилія, дающая на одномъ стеблѣ двѣнадцать цвѣтковъ. Сервантесъ смѣется горькимъ смѣхомъ, и этотъ смѣхъ слышитъ весь міръ. Байронъ прекрасенъ, какъ Люциферъ. Шелли рыдаетъ, какъ гениальная скрипка, и переливается лунными дрожаніями воздушной лютни. Но каждый изъ этихъ поэтовъ воплощаетъ, въ общемъ, только одну черту. Ихъ можно любить больше, но о нихъ нельзя сказать того, что мы можемъ сказать о Гёте: они—части, онъ—цѣлое. Они видятъ міръ подъ

однимъ угломъ, и никогда не властны отрѣшиться отъ своего темперамента. Гёте видитъ вселенную подъ разными углами и можетъ мѣняться, какъ Протей, ускользя отъ тѣхъ, кто не умѣетъ спрашивать, и говоря съ мудрыми, какъ предсказатель и мудрецъ. И потому въ будущемъ, когда люди вполнѣ овладѣютъ Землей, этой зеленой планетой, данной намъ для блаженства, они будутъ подобны не Шекспиру и не Шелли, а гармонически-властному Гёте.

Но есть еще другое отличіе этого великаго генія отъ цѣлой группы поэтовъ, заставляющее насъ, изнервничавшихся, утонченныхъ, и утомленныхъ своей утонченностью, періодически возвращаться къ уравновѣшенному Гёте, покидая наши душистыя и душныя теплицы, и, подобно вѣрнымъ богомольцамъ, приносить ему обѣтныи даръ нашихъ лучшихъ влеченій. Это отличіе заключается въ томъ, что онъ—*рыская противоположность* коренящемуся въ насъ *трагизму*. Въ немъ—враждебное челоуѣческой природы, вступая въ междоусобную борьбу и создавая лирическія грозы, всегда приводитъ къ радугѣ. Трагическія души, какъ Свифтъ, Эдгаръ По, Бодлэръ, или Ницше, какъ камни, сорвавшіеся съ высоты утеса, съ логической неизбѣжностью и все возрастающей быстротой, летятъ въ пропасть, попутно увлекая за собою другіе камни меньшаго сопротивленія,—и чѣмъ тяжелѣе такой обломокъ, тѣмъ больше красоты въ его паденіи, тѣмъ тяжелѣе поднятый имъ гулъ. Души гармоническія, какъ

Гете, подобны громадному развѣсистому дереву, которое растетъ столѣтія, поднимается упорно въ опредѣленномъ направленіи, и бури свои переносятъ—качаясь, метаясь, шумя, но цѣпко и твердо стоя на своемъ, Судьбой ему данномъ, мѣстѣ.

Да, и камни, сорвашіеся съ высоты, убиваютъ тѣхъ, кто всталъ на ихъ пути. А священное дерево Бодхи, подъ тѣнью котораго Сакьямуни достигъ обладанія Истиной, жило, зеленѣя, долгія столѣтія, и, перенесенное, въ видѣ свѣжаго побѣга, на жемчужный островъ Цейлонъ, живетъ тамъ до сихъ поръ, внушая всѣмъ, кто къ нему приближается, мысли, отмѣченныя спокойной мудростью.

Поэзія Стихій

(Земля, Вода, Огонь и Воздухъ)

Есть на Землѣ страна вѣчной Весны, она называется Мексикой. Есть страна въ человѣческой душѣ, гдѣ царить вѣчная Юность, ее называютъ Мечтой.

Все красочно и свѣжо въ неистощимой Мечтѣ, все ярко, цвѣтисто, и пышно въ странѣ, гдѣ царить Весна. Выжженные Солнцемъ равнины перемежаны съ долинами поразительной плодородности, всюду дикіе роскошные цвѣты, [чаща ароматическидышащихъ кустарниковъ, запахъ ванили, мерцанія индиго, безсмѣнные изумруды листовъ и травъ, горные оплоты, ощущение вулканическихъ порывовъ, которые были и будутъ, которые вотъ-вотъ разразятся ликующимъ праздникомъ дыма и пламени. Ручьи и рѣки, озера и болота, порфиновые скалы, и поля покрытыя лилейными цвѣтами алоэ, а на фонѣ глубокой Лазури, въ которой зарождаются бѣшенныя бури и освѣжительныя вѣтерки, четко высится чарующая горная вершина, съ плѣнительнымъ именемъ—спящая Снѣжная Женщина.

Этотъ край Вѣчной Весны называютъ теперь „страной, которая просыпается“. Послѣ пышныхъ

торжество благоговѣнья и проклятій, жестокости и нѣжности, молитвъ Солнцу и трепета вырванныхъ сердець, красивыхъ ликовъ и изуродованныхъ тѣлъ, брошенныхъ на жертвенный камень на страшныхъ пирамидныхъ теокалли, — послѣ безумнаго расцвѣта фантазіи, страна Вѣчной Весны застыла отъ грубаго вторженья чуждой насильственной дѣйствительности, но она опять уже чувствуетъ, что въ Солницѣ еще много алаго и золотого цвѣта, и становится—страной, которая просыпается. Самая красивая изъ земныхъ птицъ, фантастическая по своему малому размѣру и по своей неутомимой силѣ, красочная птичка колибри, находящаяся въ вѣчномъ движеніи, перелетаетъ, какъ легкій драгоценный камень, съ вѣтки на вѣтку, побѣждая своею красотой даже нарядныхъ бабочекъ, изъ зелени слышится птичій зовъ-напѣвъ — „Тіуй“, слово, которое на языкѣ древней Мексики означало — „Идемъ“ — мелькаетъ, гипнотизируя глаза и душу, смѣлая малютка колибри, которую древніе поэты Мексики называли тысящевѣтной, — и въ памяти встаетъ легенда - правда, которую должно выразить весенними намеками, расцвѣтно - пѣвучими звуками.

Колибри, птичка-мушка, безстрашная, хоть малая,
Которой властью Солнца нарядъ цвѣтистый данъ,
Рубиновая фея, лазурная и алая,
Сманила смѣлыхъ бросить родимый ихъ Ацтланъ.

Веселымъ пышнымъ утромъ, когда Весна багряная
Роститъ цвѣты, какъ солнца, какъ луны, межъ вѣтвей,

Летуныя щебетнула: „Туй, туй“,—румяная,
Какъ бы цвѣточно-пьяная,—„Туй, идемъ, скорѣй!“.

Въ тотъ мигъ жрецы молились, и пѣніе жемчужное
Лазурно-алой фен услышали они:—
Пошелъ народъ безстрашный, все дальше, въ царство
[Южное,

И красной лентой крови свои обвилъ онъ дни.

И Мексика возникла, видѣнье вдохновенное,
Страна цвѣтовъ и Солнца, и плясокъ, и стиховъ,
Безжалостность и нѣжность, для грезы—сердце плѣнное,
Сынъ Бога—жертва Богу, земной—среди боговъ.

Дабы въ Чертогахъ Солнца избранникъ зналъ забвеніе,
Ему исторгнуть сердце агатовымъ ножомъ,
Разбей земныя лютни, забудь напѣвъ мгновенія,
Тамъ въ Небѣ Дѣвы Солнца, Богъ Семиплѣтникъ въ немъ.

Богиня Бѣлой Жатвы, Богиня Звѣздоханности,
Богъ Пламя, Богъ Зеркальность, Богиня Сердце Горь...
Колибри, птичка-мушка, въ безжизненной туманности
Ты сердце научила знать красочный узоръ!

Воители и утонченники, неукротимые сыны бога
Мекситли, страшнаго бога Вицлипохтли, возлюбив-
шіе яркій цвѣтъ крови и нѣжныя украшенія, со-
тканная изъ перышекъ птички-мушки, послушались
зова колибри, и, уйдя за мечтой, создали самое
причудливое историческое сновидѣніе, длительность
котораго была до изумительности краткой, какъ
длительность всѣхъ чрезмѣрно опьяняющихъ мо-
ментовъ.

Однако же и до сихъ поръ, на знамени нынѣш-
ней измѣненной Мексики, мы видимъ изображеніе

причудливаго растеня, кактуса, и крылатую птицу, но не самую маленькую, а самую большую, солнцелюбиваго орла. Почему? Воинственные утонченники, влюбленные въ краски, скитались много времени, прежде чѣмъ прочно поселились на отмѣченномъ Судьбою мѣстѣ, для краткаго, но безсмертнаго торжества исторической праздничной сказки. Въ своихъ скитаньяхъ они увидѣли воочию островъ, и на островѣ скалу, и на скалѣ могучій кактусъ, и на кактусѣ, съ ликующими цвѣтками, сильнаго орла, который кривымъ своимъ клювомъ терзалъ змѣю. Въ такомъ-то причудливомъ мѣстѣ они основали городъ, который называли сперва Теноктитланъ (камень и кактусъ), а позднѣе Мехико.

Намъ, блѣдноликимъ, страшенъ цвѣтъ крови. Среди насъ есть такіе, которые отъ одного ея вида лишаются чувствъ. Насъ тревожатъ даже красные цвѣты, и кактусы пугаютъ нашу впечатлительность. Правда, въ нихъ есть что-то странно-страшное.

Кактусы цѣпкіе, хищные, сочные,
Странно-яркіе, тяжкіе, жаркіе,
Не по-цвѣточному прочные,
Что-то паучье есть въ кактусѣ зломъ,
Мысль онъ смущаетъ, хоть радуеть взглядъ.
Этотъ ликующій цвѣтъ, —
Смотришь — растенье, а можетъ быть — нѣтъ,
Алою кровью напившійся гадъ!

Да, насъ тревожить и безпокойно волнуетъ все красочно-торжествующее. Какъ мѣтко сказалъ поэтъ нашей городской впечатлительности, пѣвецъ „Tertia Vigilia“ и „Urbi et Orbi“,

„Мы къ яркимъ краскамъ не привыкли,
Одежда наша — цвѣтъ земли“...

Но тѣ люди, которые, въ составѣ цѣлаго народа, дерзнули бросить свои родныя мѣста и пошли—не за могучимъ Фараономъ, и не за огненнымъ столбомъ въ пустынь, а за самой малой, за самой неправдоподобной, нереальной птичкой, — могли и смѣли любить ликующіе цвѣта, могли и неизбежно должны были создать самую яркую реальность и встрѣтить на нескрушимой каменной основѣ побѣднаго царя крылатыхъ. Они должны были, эти мечтатели, эти поэты молитвенныхъ безумствъ, такъ же красиво и такъ же ужасно, вопреки своей воинственности, вопреки своей неукротимой храбрости, отдать все свое множество въ руки смѣлой шайки бѣлолицыхъ, въ которыхъ они увидѣли дѣтей боговъ, — и потомъ слишкомъ поздно узнать, не мечтою, а разсудкомъ, что божественность грабителей сомнительна, и рвануться навстрѣчу—слишкомъ поздно, и мучиться, и молчать, и таить про себя свои красочные сны—до новаго мига, потому что такой мигъ долженъ настать для сердца, знающаго неисчерпаемую мощь Мечты.

Кромѣ чарующей Страны Мечты, есть не менѣе чарующая, и временами еще болѣе сильная и яркая страна, то жаркая, то кристалльно-льдисто-холодная Страна Мысли. Не о современной Мысли говорю я,—она, со своею раздробленностью и жалкой полужречей ползучестью, не имѣетъ для меня никакого очарованія, мало того, кажется мнѣ презрѣнной. Я

говору о Мысли всеобъемлющей, знающей предѣльное, но касающейся его лишь настолько, насколько это необходимо, и быстро и смѣло уходящей въ Запредѣльное. Ея символъ среди земныхъ странъ—Индія, всеобъемлющая и всепонимающая, всевоспринимающая Индія, которая жила тысячелѣтія—сонмы вѣковъ—и будетъ жить до скончанія нашихъ земныхъ дней. Эта Страна включила въ себя и Мечту, будучи, однако, по преимуществу Страною Мысли. Я скажу о ней нѣсколько словъ позднѣе. Сейчасъ мы побудемъ еще въ странѣ красочнаго, въ области грезъ и свѣтоноснаго Огня. Впрочемъ, Мексиканскій богъ Пламя, желтоликій Куэцальтцинь совсѣмъ сродни Индійскому богу Агни. И и въ эти дни, когда мы живемъ впотъмахъ и на Сѣверѣ, въ эти дни, когда

Для насъ блистательное Солнце не богъ, несущій жизнь и мечъ,
А просто желтый Шаръ центральный, планета сферическая печь,

въ эти дни унылыхъ ликовъ, душныхъ домовъ, и трусливыхъ мыслей, — унесемъ, хотя на короткія мгновенья, въ область звуковъ несвязанныхъ боязню, и послушаемъ голосъ Стихій,—Огня, и Воды, и Земли, и Воздуха.

Мнѣ явственно кажется, что очень давно я уже много разъ былъ и въ Странѣ Мечты, и въ Странѣ Мысли, что я лишь въ силу закона сцѣпленія причинъ и слѣдствій, волею суроваго закона Кармы, попалъ въ холодный сумракъ Сѣвера, и огненные строки поютъ во мнѣ.

Огнепоклонникомъ я прежде былъ когда-то,
Огнепоклонникомъ останусь я всегда,
Мое индiйское мышленiе богато
Разнообразiемъ разсвѣта и заката,
Я между смертными падучая звѣзда.

Средь человѣческихъ безцвѣтныхъ привидѣнiй,
Межъ этихъ будничныхъ безжизненныхъ тѣней,
Я вспышка яркая, блаженство изступленiй,
Игрою красочной свѣтло вѣнчанный генiй,
Я праздникъ радости, расцвѣта, и огней.

Какъ обольстительна въ провалахъ тьмы комета!
Она пугаетъ мысль и радуется мечту.
На всемъ моемъ пути есть свѣтлая примѣта,
Мой взоръ блестящiй кругъ, за мною — вихри свѣта,
Изъ тьмы и пламени узоры и плету.

При разрѣшенности стихiйнаго мечтанья,
Въ начальномъ Хаосѣ, еще не знавшемъ дня,
Не гномомъ роющимъ я былъ средь мирозданья,
И не ундиною морского трепетанья,
А саламандрою творящаго Огня.

Подъ Гималаями, чьи выси — въ блескахъ Рая,
Я понялъ яркость думъ, среди долинной мглы,
Горѣла въ темнотѣ моя душа живая,
И людямъ я свѣтилъ, костры имъ зажигая,
И Агни свѣтлomu слагалъ свои хвалы.

Съ тѣхъ поръ, какъ мигъ одинъ, прошли тысячелѣтья,
Смѣшались языки, содвинулись моря.
Но все еще на Свѣтъ не въ силахъ не глядѣть я,
И знаю явственно, пройдутъ еще столѣтья,
Я буду все свѣтить, сжигая и горя.

О, да, мнѣ нравится, что бѣло такъ и ало
Горѣнье вѣчное земныхъ и горныхъ странъ.
Молиться пламени сознанье не устало,

И для блестящаго мнѣ служить ритуала
Уста горячія, и Солнце, и вулканъ.

Какъ убѣдительно лучей растушихъ чара,
Когда намъ Солнце вновь бросаетъ жаркій взглядъ,
Неисчерпаемость блистательнаго дара!

И въ красномъ заревѣ побѣднаго пожара
Какъ убѣдителенъ, въ оправѣ тьмы, закатъ!

И въ страшныхъ кратерахъ—молитвенные взрывы:
Качаясь въ пропастяхъ, рождаются на днѣ
Колосья пламени, чудовищно - красивы,
И вдругъ взмечаются пылающія нивы,
Уставъ скрывать свой блескъ въ могучей глубинѣ.

Бѣгутъ колосья въ высь изъ творческаго горна,
И шестелѣнья ихъ слагаются въ напѣвъ,
И стебли жгучіе сплетаются узорно,
И съ свистомъ падаютъ пурпуровыя зерна,
Для сна отдѣльности въ той слитности созрѣвъ.

Не то же ль творчество, не то же ли горѣнье,
Не тѣ же ль ужасы, и та же красота
Кидаютъ любящихъ въ безумныя сплетеня,
И заставляютъ ихъ кричать отъ наслажденья,
И замыкаютъ имъ безмолвіемъ уста.

Въ порывѣ бѣшенства въ себя принявши Вѣчность,
Въ блаженствѣ сладостномъ истомной слѣпоты,
Они вдругъ чувствуютъ, какъ дышетъ Безконечность,
И въ ихъ сокрытостяхъ, сквозь ласковую млечность,
Молніеносные рождаются цвѣты.

Огнепоклонникомъ Судьба мнѣ быть велѣла,
Мечтѣ молитвенной ни въ чемъ преграды нѣтъ,
Единымъ пламенемъ горять душа и тѣло,
Глядимъ въ бездонность мы въ узорностяхъ предѣла,
На вѣчный праздникъ снова зоветь безбрежный Свѣтъ.

.....

Огонь приходит съ высоты,
Изъ темныхъ тучъ, достигшихъ гранн
Своей растушей темноты,
И порождающей черты
Молніеносныхъ содроганій.
Огонь приходит съ высоты,
И, если онъ въ землѣ таится,
Онъ лавой вырваться стремится,
Изъ подземельной тѣсноты.
Когда жь съ высотъ лучомъ струится,
Онъ въ хороводъ зоветъ цвѣты.

Вонъ лотосъ, любимецъ Стихіи тройной,
На свѣтъ и на воздухъ, надъ зыбкой волной,
Поднялся, покинувши иль,
Онъ Рай общаетъ намъ съ вѣчной Весной,
И съ блескомъ побѣдныхъ Свѣтилъ.

Вотъ пышная роза, Персидскій цвѣтокъ,
Душистая греза Ирана,
Предъ розой исполненъ влюбленныхъ я строкъ,
Волнуетъ уста лепестковъ вѣтерокъ,
И сердце отъ радости пьяно.

Вонъ чампакъ, цвѣтушій въ столѣтіе разъ,
Но грезу лелѣющій вѣкъ,
Онъ тоже оттуда примѣта для насъ,
Куда убѣгаютъ, въ волненьи свѣтлѣсь,
Всѣ воды намъ вѣдомыхъ рѣкъ.

Но что это? Дрогнувъ, мѣняются чары.
Какъ будто бы смѣхъ Соблазнителя-Мары,
Сорвавшись къ долинамъ съ вершинъ,
Миѣ шепчетъ, что жадны какъ звѣри, растенья,
И сдавленность воплей и слышу сквозь пѣнье,
И если мечтѣ драгоцѣнны каменья,
Кровавы гвоздики и страшень рубинъ.

Мнѣ страшенъ угаръ ароматовъ и блесковъ расцвѣта,
Все смѣшалось во мнѣ,
Я горю какъ въ Огнѣ,
Душное Лѣто,
Цвѣточный кошмаръ овладѣлъ распаленной мечтой,
Синіе пляшутъ огни, пляшетъ Огонь золотой,
Страшною стала мнѣ даже трава,
Вижу какъ въ маревѣ стебли нѣмые,
Пляшутъ и мысли кругомъ и слова.
Мысли — мои? Или, можетъ, чужія?

Закатное Небо. Костры отдаленные.
Гвоздики, и маки, въ своихъ сновидѣньяхъ безсонные.
Волчцы подъ Луной, привидѣнья они.
Обманные бродятъ огни
Пустырями унылыми.
Георгины тупые, съ цвѣтами застылыми,
Точно ихъ создала не Природа живая,
А измыслилъ въ безжизненный мигъ человѣкъ.
Одуванчиковъ стая съдая.
Милліоны раздавленныхъ красныхъ цвѣтовъ,
Клокотанье кроваво-окрашенныхъ рѣкъ.
Гнетъ Пустыни надъ выжженной ширью песковъ.
Кактусы, цѣпкіе, хищные, сочные,
Странно-яркіе, тяжкіе, жаркіе,
Не по-цвѣточному прочные,
Что-то паучье есть въ кактусѣ зломъ,
Мысль онъ пугаетъ, хоть манитъ онъ взглядъ,
Этотъ ликующій цвѣтъ,
Смотришь — растенье, а можетъ быть — нѣтъ,
Алою кровью напившійся гадъ?

И много, и много отвратностей разныхъ,
Красивыхъ цвѣтовъ, и цвѣтовъ безобразныхъ,
Нахлынули, тянутся, въ мысли — прибой,
Рожденный самою Судьбой.

Болиголовъ, наркозъ, съ противнымъ духомъ,—
Воронковидный вѣнчикъ бѣлены,
Затерто-желтый, съ сѣтью синихъ жилкокъ,—
Съ отгѣнкомъ буро-краснымъ заразиа,
Съ покатою шлемовидною губой,—
Подобный науку, офрисъ, съ губою
Широкой, желто-бурой, или красной,—
Колющее созданіе, татарникъ,
Какъ бы въ бронѣ крылоподобныхъ листьевъ,
Зубчатыхъ, паутинисто-шерстистыхъ,—
Дурманъ воноучій, — мертвенный морозникъ,—
Цвѣты отравы, хищности, и тьмы, —
Мыльнянка, съ корневищемъ ядовитымъ,
Взлюбившая края дорогъ, опушки
Лѣсныя, и рѣчные берега,
Мѣста, что въ самой сущности предѣльны,
Цвѣтокъ любимый бабочекъ ночныхъ,—
Вороній глазъ, съ приманкою изъ ягодъ
Отливноцвѣтныхъ, синевато-черныхъ,—
Пятнадцатилучистый сложный зонтикъ
Изъ ядовитыхъ бѣленькихъ цвѣткочъ,
Зовущихся такъ памятно —цикутой,
И ликиа исчадія Земли,
Ужасныя растенія-полузвѣри,
Въ лѣнивыхъ водахъ, медленно-текущихъ,
Въ затонахъ, гдѣ стоячая вода,
Вся полная сосудцевъ, пузырьчатка,
Капканъ для водной мелочи животной,
Для жертвы открываетъ тонкій клапанъ,
Замкнеть ее въ тюремномъ пузырькѣ,
И уморить, и лакомится гнилью,
Росняка ждетъ, какъ вору, своей добычи,
При помощи уродливыхъ желѣзокъ
И красныхъ волосковъ, такъ липко-клейкихъ,
Улавливаетъ мухъ, ихъ убиваетъ,

Удавливаетъ медленнымъ сжиманьемъ,
О, крабъ-цвѣтокъ!—и сокъ изъ нихъ сосеть,
Болотная причудливость, растенье,
Которое цвѣткомъ не хочетъ быть,
И хотъ имѣть гроздь расцвѣтовъ бѣлыхъ,
На гада больше хочеть походить.
Еще, еще, косматая, сѣдя,
Мохнатая, жестокія видѣнья,
Измышленныя дьявольской мечтой,
Чтобъ сердце въ достовѣрнѣйшемъ, въ послѣднемъ
Убѣжищѣ, среди цвѣтовъ и листьевъ
Убить.

Кошмаръ, уходи, я рожденъ, чтобъ ласкать и любить!
Для чаръ безпредѣльныхъ раскрыта душа,
И все, что живетъ, расцвѣтая, спѣша,
Привѣтствую, каждому- хочется быть,
Кѣмъ хочешь, тѣмъ будешь, будь вольнымъ, собой,
Ты черный? будь чернымъ, — мой цвѣтъ голубой,
Мой цвѣтъ будетъ бѣлымъ на вышнихъ горахъ,
Въ вертепахъ я веселъ, я страшенъ впотьмахъ,
Все, все я пріемлю, чтобъ сдѣлаться Всѣмъ,
Я слѣпъ былъ — я вижу, я глухъ былъ и нѣмъ,
Но какъ говорю я вы знаете, люди,
А что я услышалъ, застывши въ безжалостномъ Чудѣ,
Скажу, но не все, не теперь,
Нѣтъ словъ, нѣтъ размѣровъ, ни знаковъ,
Чтобъ таинство блесковъ и мраковъ
Явить въ полночѣ, только мигъ—и закроется дверь,
Песчинокъ блестящихъ я нѣсколько брошу,
Желаненъ мигъ ликъ Человѣка, и боги, растенье, и птица,
и звѣрь,

Но свѣтлую пошу,
Что въ сердцѣ храню,
Я долженъ пока сохранять, я поклялся, я клялся—Огню.

Буря промчалась,
Конченъ кошмаръ.
Солнце есть вѣчный пожаръ,
Въ сердцѣ горячая радость осталась.

Ждите. Я жду.
Если хотите,
Темными будьте, живите въ бреду,
Только не лгите,
Самъ я въ вертепы васъ всѣхъ поведу.

Если хотите,
Мысли сплетайте въ лучистыя нити,
Свѣтлая ткань хороша, хороша,
Только не лгите,
Къ Солнцу идите, коль Солнца вонистину хочеть душа.

Все совершится,
Кругъ неизбѣженъ.
Люди, я нѣженъ,
Сладко забыться.
Пытки я вѣдалъ. О, ждите. Я жду.
Рѣчь отъ Огня я и Духа веду.

Лучи и кровь, цвѣты и краски,
И искры въ пляскѣ вокругъ костровъ—
Слова одной и той же сказки
Разсвѣтовъ, полдней, вечеровъ.

Я съ вами былъ, я съ вами буду,
О, многоликости Огня,
Я умъ зажегъ, отдался Чуду,
Возможно счастье для меня.

Въ темницѣ кузницъ неустанныхъ,
Гдѣ горнъ, и молотъ, жаръ, и чадъ,

Слова напѣвовъ звѣзdotканныхъ
Неумолкаемо звучать.

Съ Огнемъ неразлучимы димы,
Но горичвѣтный блескъ углей
Поеть, что свѣтлы Серафимы
Надъ тѣсной здѣшностью моей.

Есть Духи Пламени въ Незримомъ,
Какъ здѣсь цвѣты есть изъ Огня,
И пусть я самъ развѣюсь дымомъ,
Но пусть Огонь войдетъ въ меня.

Горѣть хотя одно мгновенье,
Свѣтитъ хоть краткій часъ звѣздой—
Въ томъ радость вѣрнаго забвенья,
Въ томъ праздникъ ярко-молодой.

И если въ Небѣ Солнце властно,
И свѣтлы звѣздные пути,
Все жъ искра малая прекрасна,
И можетъ алый цвѣтъ цвѣсти.

Гори, Вулканъ, и лейся, лава,
Сіяйте, звѣзды, въ вышинѣ,
Но пусть и здѣсь да будетъ слава
Тому, кто сжегъ себя въ Огнѣ!

Стихи освобождаютъ, и Огонь, будетъ ли это
пламя Солнца, или пламя пожара, или хотя бы
пламя свѣчи, отъ котораго дрогнули сумерки сѣрой
печальной комнаты, или хотя бы зелененькій фо-
нарикъ свѣтляка, мелькнувшій въ ночномъ лѣсу,—
всегда, безмолвно и властно, Огонь освобождаетъ
нашу душу отъ угрюмыхъ мыслей, сдвигаетъ съ

мѣста цѣлкія тѣни, отдаляетъ ихъ, дѣлаетъ ихъ живыми, и, если не властенъ прогнать ихъ совсѣмъ, заставляетъ ихъ колыхаться, бросаетъ отъ насъ подѣ Луной безмѣрные длинные призраки, которые бѣгутъ по снѣгу и превращаютъ плоскую равнину въ фантазію, гдѣ наша мысль овѣяна голосами воспоминаній. Въ нашихъ душахъ, несознаваемо для насъ самихъ, загораются звѣздоносныя волны, свѣтитъ звѣздная печать. Мы съ тайнымъ удивленіемъ прислушиваемся къ собственному нашему голосу, и замѣчаемъ, что онъ сталъ звучнѣе и отчетливѣе, когда еле зримый серпъ Луны показался на Лазури. Мы видимъ игру свѣта въ драгоцѣнныхъ камняхъ, или въ Водѣ, или въ облакѣ,—и мы чувствуемъ, что мы стали нѣжнѣе. Мы были въ темнотѣ, и намъ было страшно, мы были подѣ тусклымъ дождливымъ небомъ, и міръ казался намъ сжавшимся и тѣснымъ. Но вотъ свѣтъ расширилъ пространство. Огонь весело шутитъ, міръ сталъ широкимъ, желаннымъ, и заманчивымъ. за крайней предѣльной чертой горизонта мечта улавливаетъ новыя и вѣчно-новыя дали, и въ горлѣ у птицъ и людей возникаетъ желаніе лѣтъ.

О, по истинѣ красивъ Чаровникъ - Огонь, и что можетъ сравниться съ нимъ? Но зачѣмъ сравненье для подчиненности.—можно сравнивать лишь для установленія связи.

Съ Огнемъ прежде всего я сравню Воду, и не знаю, что сильнѣе,—гляжу на Пламя, душа принадлежитъ ему, слушаю лѣніе струй, или отдален-

ный рокоть Океана, душа принадлежит Влагѣ. Въ соучастіи Стихій, въ ихъ вѣчномъ состязаньи, въ празднествѣ ихъ взаимной слитности и переплетенности, я вижу равенство каждой изъ могучихъ Силъ, образующихъ Міровое Кольцо Творческаго Четверогласія.

Одному маленькому мальчику, когда онъ гулялъ по снѣжному застывшему саду, упала на руку снѣжинка, и еще другая, и третья, много снѣжинокъ. Каждая имѣла видъ маленькой звѣзды, и онъ подумалъ, что они пришли къ нему съ самаго Неба. Онъ не зналъ еще, что звѣзды—жгучія, и ему показалось, что земные снѣга и небесныя сіянья слиты въ одно. Въ другой разъ, весной, онъ увидѣлъ подъ Солнцемъ падающія капли дождевой влаги, весело прыгавшія и плясавшія по листьямъ цвѣтущей черемухи. Онъ раньше видѣлъ, въ зимнихъ комнатахъ, на красивыхъ женщинахъ, брилліанты, игравшіе всѣми переливами при свѣтѣ бальныхъ огней,—и тутъ, въ саду, онъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что между драгоценными камнями и каплями стремительной влаги существуетъ полное тождество. Онъ видѣлъ потомъ и лѣто и осень, видѣлъ цвѣты, красные какъ ленты, и листья, золотые, какъ колыханья золотой занавѣси, видѣлъ рѣки, похожія на аллеи, и рѣки, похожія на исполинскихъ змѣй, которыя ему снились, хрустальныя озера, странно напоминавшія о принцессѣ въ хрустальныхъ башмачкахъ, лѣса, гдѣ есть подземныя норы и совѣмъ человѣческіе шопоты, ручейки, много разныхъ ру-

чейковъ, много видѣлъ онъ разнаго, но ему съ непобѣдимой убѣдительностью казалось, что все это разное есть Одно. Онъ не зналъ, какъ называется это Одно. Не знаю и я. Но мнѣ очень близки ощущенья этого маленькаго мальчика, и всего убѣдительнѣе кажутся мнѣ тѣ минуты, когда, о чемъ бы ни сталъ говорить, мнѣ упорно помнится слитность различнаго Одного, и я чувствую за малымъ Безграничное, и отъ Безпредѣльнаго переносую къ самому малому,—мечта тогда кружится и вьется снѣжинкой, разъединенность отдѣльностей уничтожается, стройно слышится немолчное журчаніе, это голосъ влаги, это душа Воды.

Вода, стихія сладострастія,
Вода, зеркальность нашихъ думъ,
Бездонность сновъ, безбрежность счастья,
Часовъ бѣгущихъ легкій шумъ.

То недвижимо-безглагольная,
То съ неустержною волной,
Но вѣчно легкая и вольная,
И вѣчно дружная съ Луной.

И съ Солнцемъ творческимъ сліянная,
То гуль, то плескъ, то—блески струй,
Стихія страстная и странная,
Твой голосъ— влажный поцѣлуй.

Отъ капли росы, что трепещеть, играя
Огнемъ драгоценныхъ камней,
До блѣдныхъ просторовъ, гдѣ, вдалѣ убѣгая,
Вѣнчается пѣною влага морская,

На глади бездонныхъ морей,
Ты всюду, всегда неизмѣнно-живая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красныхъ и желтыхъ лучей,
Оранжевыхъ, бѣлыхъ, зеленыхъ, и синихъ,
И тѣхъ, что рождаются только въ пустыняхъ,
Въ волненьи и пѣньи безмѣрныхъ зыбей,
Оттѣнковъ, что видны лишь избраннымъ взорамъ,
Дрожаній, сверканій, мельканій, которымъ
Нельзя отыскать отражающихъ словъ,
Хоть въ словѣ бездонность оттѣнковъ блистаетъ,
Хоть въ словѣ красивомъ всегда расцвѣтаетъ
Весна многоцвѣтныхъ цвѣтовъ.

Вода безконечные лики вмѣщаетъ
Въ безмѣрность своей глубины,
Мечтанье на зыбяхъ различныхъ качаетъ,
Молчаньемъ и пѣньемъ душъ отвѣчаетъ,
Уводитъ сознание въ сны.
Богатыми были, богаты и нынѣ
Просторы лазурно-зеленой пустыни,
Рождающей миръ островной.
И Море—все Море, но, въ вольномъ просторѣ,
Различно оно въ человѣческомъ взорѣ
Качается грезой-волной.

Въ различныхъ скитаньяхъ,
Въ иныхъ сочетаньяхъ,
Я слышалъ сказанія бурь,
И знаю, есть разность въ мечтаньяхъ.
Я видѣлъ Индійское море, лазурь,
Въ немъ волнъ голубые извивы,
И Красное море, гдѣ ласковъ кораль,
Гдѣ розовой краскою зыбится валъ,
И Желтое, водныя нивы,
Зеленое море, Персидскій заливъ,

И Черное море, гдѣ буенъ приливъ,
И Бѣлое, призракъ красивый.

И всюду я думалъ, что всюду, всегда,
Различно-прекрасна Вода.

Я помню, въ далекіе дѣтскіе дни
Привидѣлся странный мнѣ сонъ.
Мнѣ снилось, что бѣлые въ Небѣ огни,
И ими нашъ садъ озаренъ.

Сверкаютъ далеко холодные льды,
Струится безжизненный свѣтъ.
Звѣзда отражаетъ сіянье звѣзды,
Сплетаются гроздя планеть.

Сплетаются тысячи крупныхъ планеть,
Блестятъ, возрастаютъ, растутъ.
Но въ этомъ сіяньи мнѣ радости нѣтъ,
Цвѣты предо мной не цвѣтутъ.

Ребенку такъ нуженъ расцвѣтъ лепестка,—
Иначе зажжется ли взглядъ.
Но нѣтъ предо мною въ саду ни цвѣтка,
Весь бѣлый, безжизненный—садъ.

И сталъ я тихонько молиться въ бреду,
И звѣзды дрожали въ отвѣтъ,
И что-то какъ будто мѣнялось во льду,
И таяли гроздя планеть.

И въ свѣтлой по-новому, въ той полумглѣ
Возникли потоки дождя,
Они прикоснулись къ далекой Землѣ,
Съ высокаго Неба идя.

Окуталь полъ-міра блистающій мость,
Въ немъ разные были цвѣта.

Въ немъ не было блѣдности мертвенныхъ звѣздъ,
Живая была красота.

О, чудо! О, радость! Вблизи предо мной
Вдругъ ожилъ мой сказочный садъ.
Цвѣты расцвѣтали живой пеленой,
Былъ свѣтель младенческой взглядъ.

Раздвинулись полосы ровныхъ аллей,
Свѣтло заигралъ изумрудъ.
Подъ частою чащею зеленыхъ вѣтвей
Цвѣты голубые цвѣтуть.

Багряныхъ, и алыхъ, и желтыхъ цвѣтовъ
Росла золотая семья.
Ребенку такъ нуженъ расцвѣтъ лепестковъ,
И это такъ чувствовалъ я.

И въ ландышахъ бѣлыхъ, отъ капель дождя,
Иначе зажглась бѣлизна.
И дождь прекратился, и, съ Неба идя
Струилась лишь музыка сна.

Мы видимъ въ младенчествѣ вѣщіе сны,
Такъ близки мы къ Небу тогда.
И этого сна, и цвѣтовъ пелены
Не могъ я забыть никогда.

Съ звѣздою, блистая, сплелась звѣзда,
Тянулась звѣзда до звѣзды.
Я помню, я понялъ впервые тогда
Зиждительность свѣтлой Воды.

Но минули дѣтскіе годы,
Иного хотѣла мечта.
Хоть все же я въ царствѣ Природы
Любилъ и цвѣты и цвѣта.

Блаженно, всегда и повсюду,
Мнѣ чудились рокоты струнъ.
Я шель къ неизвѣстному чуду,
Мечтателенъ, нѣженъ и юнъ.

И ночью плѣнительной Мая
Да въ первую четверть Луны,
Мнѣ что-то сверкнуло, мелькая,
И вновь я увѣровалъ въ сны.

Я помню баюканья бала,
Весь ожилъ старинный нашъ домъ.
И музыка сладко звучала
Въ мечтающемъ сердцѣ моемъ.

Улыбки, мельканья, узоры,
Желанныя сердцу черты.
Мгновенно-слиянныя взоры,
Цвѣты и мечты Красоты.

Все было вотъ здѣсь, въ настоящемъ,
Въ волнѣ нарастающихъ силъ.
Съ желанною, въ залѣ блестящемъ,
Я въ вальсѣ старинномъ скользилъ.

И чудилось мнѣ, что столѣтій
Надъ нами качался полетъ.
Но мы пронеслись какъ дѣти,
И полъ озарялся какъ ледъ.

И близкое тѣло скользило,
Я нѣжно объятіе длю.
„Ты любишь?“ душа говорила.
Глаза говорили: „Люблю“.

Другъ другу сказали мы взоромъ,
Что тотчасъ мы спустимся въ садъ.
И, связаны тѣмъ договоромъ,
Скользили, какъ тѣни скользять.

Лишь нѣсколько быстрыхъ мгновений,
И мы отошли отъ огней.
Мы въ сумракъ цвѣтущихъ сиреней
Съ знакомыхъ сошли ступеней.

И стройная музыка бала,
И вальса стариннаго звонъ,
Какъ дальняя сказка звучала,
И душу качала, какъ сонъ.

Но ближе, другое вліянье
Слагало свой властный напѣвъ.
Всѣ думы сожгло ожиданье,
И сердце блеснуло, сгорѣвъ.

Въ саду, въ томъ старинномъ, пустынномъ,
Гдѣ праздникъ цвѣтовъ былъ мнѣ данъ.
Подъ свѣтомъ планетъ паутиннымъ
Журчалъ неумолчно фонтанъ.

О, какъ былъ узывчивъ тотъ сонный
И вѣчно-живой водоемъ.
Онъ полонъ былъ мысли бездонной
Въ журчаньи безсмертномъ своемъ.

Изъ раковинъ звонкихъ сбѣгая,
И влагу въ лобзаньяхъ дробя,
Вода трепетала, мелькая,
Онъ лился въ себя—изъ себя.

И снова, какъ въ дѣтствѣ, свѣтили
Созвѣзды съ нѣмой высоты.
И въ сладостно-дышащей силѣ
Цвѣли многоцвѣтно цвѣты.

Но пряности ихъ аромата
Сказали намъ, съ пѣніемъ водъ,

Что къ прошлому нѣтъ намъ возврата,
Что новое новымъ живеть.

И пѣли такъ сладко свирѣли
Въ себя убѣгающихъ струй,
Что мы колебаться не смѣли,
И влажный возникъ поцѣлуй.

И радостныхъ звѣздъ чарованье
Свѣтилось такъ странно въ тотъ часъ,
Что влажное это слянье
Навѣкъ пересоздало насъ.

Я видѣлъ такъ ясно узоры,
Сплетенья, гирлянды планетъ.
И чьи-то бессмертные взоры
Хранили немеркнушій свѣтъ.

Лелѣя цвѣты міровые,
Межъ звѣздъ проходила Весна.
Въ той ночи прозрачной, впервые,
Я понялъ, какъ влага нѣжна.

Боль, какъ бы ни пришла, приходитъ слишкомъ рано.
Прошли, въ теченьи лѣтъ, еще, еще года.
На шепчущемъ пескѣ ночного Океана
Я въ полночь былъ одинъ, и пѣнилась Вода.

Вставалъ и упадалъ прибой живой пустыни,
Рожидала отклики на сушѣ глубина.
Былъ тѣмъ же Океанъ отъ вѣка и донинѣ,
Но я не зналъ, о чемъ поеть его волна.

Въ моемъ сознаниіи ниня волны пѣли,
Припоминанія всего, что видѣлъ я.
И чудилась мнѣ мать у дѣтской колыбели,
И чудился мнѣ гробъ, любовь, и смерть моя.

Въ предѣльность точную замкнутыя стремленья,
Паденье, высота, разорванный узоръ.
Все тѣхъ же вѣчныхъ силъ все новыя сцѣпленья,
Моей души ночной качанье и просторъ.

Но за разорванной и многоцвѣтной тканью
Я чувствовалъ мою—иль не мою—мечту.
Въ концѣ концовъ я радъ—всему—я радъ страданью,
Я нити яркія въ живой узоръ плету.

Но мнѣ хотѣлось знать все содержанье смысла.
Куда же я иду? Куда мы всѣ идемъ?
Скажите, Звѣзды, мнѣ, вы, замыслы и числа,
Вы, волны вѣчныя, чьихъ влажныхъ ласкъ мы ждемъ.

На Небѣ облака, нѣжиѣй мечтаній лѣтомъ,
Въ холодной ясности ночного Сентября,
Дышали призрачнымъ неуловимымъ свѣтомъ,
Какъ бы сознаниемъ прошедшаго горя.

Отъ водъ вставала мгла волнистаго тумана,
И долго я смотрѣлъ на синій небосклонъ.
И вотъ, въ мои зрачки—отъ зыбей Океана
И отъ высотъ Небесъ вошелъ безсмертный сонъ.

Такъ глубока Вода, подъ Небомъ безъ предѣла,
Такая тайна въ двухъ живетъ, всегда дыша,
Что можетъ утонуть въ ихъ снахъ не только тѣло,
Но и глубокая всезрящая душа.

Изъ легкой водной мглы и изъ сіяній звѣздныхъ,
Изъ нѣжно-зыбкаго воздушнаго руна,
Межъ двухъ бездонностей, и въ двухъ зеркальныхъ
безднахъ,
Возникла призрачно блаженная Страна.

Миръ, гдѣ ни мукъ, ни тьмы, ни страха, ни обиды,
Гдѣ, всѣ, плети узоръ, въ узорность сплетены,

Какъ будто города погибшей Атлантиды,
Преображенные, возстали съ глубины.

Домовъ прекраснѣйшихъ возникли мириады,
Среди невиданныхъ фонтановъ и садовъ.
Я зналъ, что въ тѣхъ стѣнахъ всегда лучисты взгляды,
И могутъ все сказать глаза живыхъ, безъ словъ.

Здѣсь каждый новый день былъ сказкой, какъ вчерашній,
Созданій мысленныхъ, дрожа, росли лѣса.
Здѣсь каждый стройный домъ кончался легкой башней,
И все, что на Землѣ, всходило въ Небеса.

Весь блѣдный, Оксанъ слился съ небосклономъ,
Нѣтъ нежеланнаго, ни въ чемъ, ни гдѣ-нибудь.
Весь Миръ наполнился однимъ воздушнымъ звономъ,
Вселенная была —единный Млечный Путь.

И этихъ блѣдныхъ звѣздъ мерцающія рѣки
Сказали молча мнѣ, какой удѣлъ намъ данъ.
И въ тотъ полночный часъ я сталъ инымъ навѣки,
И понялъ я, о чемъ поеть намъ Океанъ.

Когда устаешь отъ нашей тусклой раздробленной
и некрасивой Современности, радостно уноситься
воспоминаніемъ въ иныя страны, въ иныя времена.
Быть вольной птицей, пересѣкать крыльями Воздухъ,
побѣждать власть разстояній, и съ прозрачной вы-
соты глядѣть то на горы, то на долины, то на одну
могучую страну, завершенную въ своемъ историче-
скомъ циклѣ, то на другую, у которой было много
построеній, наслоеній, надстроекъ, но которая все
еще любить игру вымысловъ и истинъ, и все еще
живетъ, ибо ткань Жизни неистошима. Великіе на-

роды, завершая свои полные или частичные циклы, превращаются как бы въ великія горныя вершины, съ которыхъ, отъ одной верховности къ другой, доносятся возгласы духовъ и волшебныя полосы безтѣлеснаго свѣта, ясно зримаго для души. Между судьбами народовъ нѣтъ не только тождества, но и сходства. Глубоко заблуждаются тѣ, которые говорятъ о круговращеніи и простой повторности цикловъ. Каждый народъ — опредѣленный актеръ съ неповторяющейся ролью, на сценѣ Міроваго Театра. Каждая страна есть опредѣленная, и непохожая на другія, горница въ Теремѣ Земныхъ Событій.

Изъ странъ, къ которымъ упорно возвращаются помыслы людей, стремящихся освѣжиться отъ настающаго въ прошломъ, побѣдительно по своей роскоши три владычицы мечтаній, три хранительницы тайныхъ талисмановъ. Ассирія, Египеть, Индія, — какъ четки очертанія этихъ обостровленныхъ царствъ, краснорѣчиво говорящихъ съ мыслью!

Строить зданья, быть въ гаремѣ, выходить на львовъ,
Превращать царей сосѣднихъ въ собственныхъ рабовъ,
Опьяняться повтореньемъ яркой буквы „Я“,
Вотъ Ассирія, дорога истинно твоя.

Превратить народъ могучій въ восходящестъ плить,
Быть создателемъ загадокъ, сфинксомъ Пирамидъ,
И, достигши граней въ тайнахъ, обратиться въ пыль,
О, Египеть, эту сказку ты явилъ какъ былъ.

Міръ опутать свѣтлой тканью мыслей-паутинь,
Слить душой жужжанье мошки съ грохотомъ лавинъ,

Въ лабиринтахъ быть какъ дома, все понять, принять,—
Свѣтъ мой, Индія, святыня, дѣвственная мать.

Много есть еще созданій въ міръ Бытія,
Но прекрасна только слитность разныхъ „ты“ и „я“,
Много есть еще мечтаній, сладко жить въ бреду,—
Но, уставши, лишь къ родимой, только къ ней приду.

Я думаю, что Индійская Мудрость включаетъ въ себя всѣ оттѣнки, доступной человѣку, мудрости, многогранность Индійскаго Ума неисчерпаема, какъ въ природѣ Индіи есть всѣ оттѣнки и противоположности, самая мертвая пустыни и самые цвѣтушіе оазисы. Индія—законченная въ своихъ очертаніяхъ Страна Мысли, а въ Мысли есть и Мечта, какъ въ зеленыхъ стебляхъ таятся нераскрытые цвѣты, въ Мысли есть все, поклоненіе Жизни и поклоненіе Смерти, служеніе Солнцу и многообразная поэтизація всѣхъ нашихъ темныхъ влеченій, историческія бури завоевательныхъ убійствъ, и боязнь уничтожить своимъ прикосновеніемъ малѣйшее существо, которое летаетъ и звенитъ, изваянія просвѣтленности, спокойные лики существъ, похожихъ на зеркальные помыслы озера, на сновидѣнія лотоса, и чудовищныя лица свирѣпыхъ божествъ, которыя упиваются жестокостью и умерщвленіемъ, всѣ концы, всѣ узлы, всѣ грани, все безгранное, сліяніе всѣхъ малыхъ потоковъ въ одномъ неизреченномъ и безсмертномъ Океанѣ.

Когда я думаю объ Индіи, въ ея прошломъ и въ ея, теперь едва означающемся, освободительномъ

будущемъ, мнѣ кажется, что я чувствую безчисленныя крылья въ Воздухѣ.

Но изъ всѣхъ многочисленныхъ мыслей, созданныхъ Индійскимъ Умомъ, всего больше мнѣ нравятся—мысль о постоянной связи безконечно-малаго съ Безконечно-Великимъ, и мысль о добровольной жертвѣ, какъ о свѣтломъ пути къ безпредѣльной всемірной радости.

Первая изъ этихъ мыслей символизуется въ моемъ сознаниі то съ Водюю, то съ Воздухомъ, вторая—съ самой родной для насъ Стихіей, Землей.

Всего прекраснѣе въ Воздухѣ то его свойство, которое сближаетъ его со всѣми другими Стихіями—единство въ разности, и возможность быстро перехода отъ одного своего полюса къ другому. Двѣ крайности—и нѣчто третье, соединяющее ихъ своею сущностью. Тройственность двухъ, углубляющая самое пониманіе чего бы то ни было.

Что представляется намъ, когда мы говоримъ о Воздухѣ? Вѣтеръ, вихри, бури, циклоны, огромныя массы быстро движущихся веществъ, нѣчто неизмѣримо - огромное. Воздухъ дѣйствительно таковъ. Но о немъ можно говорить и хрустально-смѣющимися звуками дѣтской пѣсенки, или нѣжными напѣвностями дѣвической утренней мечты.

Въ серебристыхъ пузырькахъ
Онъ скрывается въ рѣкахъ,
Тамъ, на днѣ,
Въ глубинѣ,
Подъ водою въ тростникахъ.

Ихъ лягушка колыхнеть,
Или окунь шевельнеть,
Глазь да глазь,
Туть сейчасъ
Наступаетъ ихъ чередъ.

Пузырьки изъ серебра
Вдругъ поймутъ, что—ихъ пора,
„Буль, буль, буль“,
Каждый — нуль,
Но на мигъ живетъ игра.

А вѣять, млѣять, и лелѣять
Едва расцвѣтшіе цвѣтки,
Въ пространствѣ свѣтломъ нѣжно сѣять
Ихъ пыль, ихъ страсть, ихъ лепестки,
И сонно, близко, отдаленно,
Струной чуть слышною звенѣть,
Пожить мгновеніе влюбленно,
И незамѣтно умереть.

Отдѣлить чуть замѣтную прядь
Въ золотистомъ богатствѣ волосъ,
И играть ей, ласкать, и играть,
Чтобы Солнце въ ней ярко зажглось,—
Чтобъ глаза, не узнавши о томъ,
Засвѣтились, расширивъ зрачокъ,
Потому что плѣнительнымъ сномъ
Овѣваетъ мечту вѣтерокъ,
И, внезапно усиливъ себя,
Пронестись и примчать ароматъ,
Чтобы дрогнуло сердце, любя,
И зажегся влюбленностью взглядъ,
Чтобы ту золотистую прядь
Кто-то радостный вдругъ увидалъ,
И скорѣе бы сталъ цѣловать,
И душою бы весь трепеталъ.

Въ одинъ мигъ, въ одно атомное дѣленіе времени и сознанія мысль уносится безконечно-далеко. Какъ хорошо мчатся путемъ, которымъ проходитъ молнія, проходитъ свѣтъ, проходитъ звукъ, проходитъ мысль, мечта. Отъ играющей въ вѣтеркѣ пряди волосъ, и отъ расширенныхъ зрачковъ, куда можетъ идти душа? Можетъ остаться вотъ здѣсь съ другою душой въ тѣсномъ сляніи,—можетъ, оставшись съ ней въ единствѣ, безъ конца восходить по свѣтлымъ путямъ, къ области тѣхъ нетронутоневѣдомыхъ міровъ, къ которымъ идетъ и тянется нашъ Воздухъ.

Нашъ Воздухъ только часть безбрежнаго Ээира,
Въ которомъ носятся безсмертные міры.
Онъ круговой шатерьъ, покровъ земного міра,
Гдѣ Духи Времени собираются для пира,
И ткутъ калейдоскопъ сверкающей игры.

Равнины, пропасти, высоты и обрывы,
По чьей поверхности проходятъ облака,
Многообразія живые переливы,
Руна завѣтнаго скользищаго извивы,
Вслѣдъ за которыми мечта плыветъ вѣка.

Въ долинахъ Воздуха есть призраки-травинки,
Взрастають-тають въ немъ, въ единый мигъ, цвѣты,
Какъ пчелы, кружатся въ немъ бѣлыя снѣжинки,
Путями фейными проходятъ паутинки,
И водонадъ лучей струится съ высоты.

Несутся съ бѣшенствомъ свирѣпыя циклоны,
Разгульной вольницей ликуетъ взрывъ громовъ,
И въ неурочный часъ гудятъ на башняхъ звоны,

Но послѣ быстрыхъ грозъ такъ изумрудны склоны
Подъ дѣтскимъ лепетомъ апрѣльскихъ вѣтерковъ.

Чертогомъ радости и міровыхъ сліяній
Сверкаетъ радуга изъ тысячи тоновъ.
И въ душахъ временныхъ тотъ праздникъ обаяній
Намекомъ говорить, что въ тысячахъ вліяній
Побѣдно царствуютъ лишь семь первоосновъ.

Отъ предразсвѣтной мглы до яркаго заката,
Отъ бѣлизны снѣговъ до кактусовъ и розъ,
Пространство Воздуха ликующе-богато
Напѣвомъ красочнымъ, гипнозомъ аромата,
Многосліянностью, въ которой все сошлось.

Когда подъ шелесты влюбляющаго Мая
Бѣлѣютъ ландыши и свѣтитъ углемъ - макъ,
Волна цвѣточныхъ душъ проносится, мечтая,
И Воздухъ, пьяностью два пола сочетая,
Велитъ имъ вмѣстѣ быть—ижитьѣй, тѣснѣй, вотъ такъ.

Онъ измѣняется, переливаетъ краски,
Перебираетъ ихъ, въ игрѣ неистощимъ,
И забывки спятъ, какъ глазки дѣтской сказки,
И арумъ яростенъ, какъ кровь и крикъ развязки,
И жизнь идетъ, зоветъ, и все плыветъ, какъ дымъ.

Въ Іюльскихъ празднествахъ, когда жнецы и жницы
Даютъ безумствовать сверканіямъ серпа,
Тревожны въ Воздухѣ передъ отлетомъ птицы,
И говорятъ въ ночахъ одна съ другой зарницы
Надъ страннымъ знаменемъ тяжелаго снопа.

Сжигаютъ молніи но неустанны руки,
Сгораютъ зданія но вновь мечта ростеть,
Кривою линіей стenanій ходить муки,
Но тонуть въ Воздухъ всѣ возгласы, всѣ звуки,
И снова—первый день, и снова— начать счетъ.

Всего таинственнѣй незримость параллелей,
Передаваемость, сны въ снахъ—и снова сны,
Духъ невещественный вещественныхъ веселій,
Отвѣтность марева, въ душѣ напѣвъ свирѣлей,
Отображенья странъ и звуковой волны.

Въ душѣ ли грезящихъ, гдѣ встала мысль впервые,
Иль въ кругозорностяхъ, гдѣ склепъ Небесъ такъ синь,
Въ прекрасной разности, они всегда живыя,
Созданья Воздуха, тѣ волны звуковыя,
И краски зыбкія, и тайный храмъ святынь.

О, Воздухъ жизненный! Прозрачность круговая!
Онъ долженъ вольнымъ быть. Когда-жь его замкнуть,
Въ немъ дышеть скрытый гнѣвъ, встаетъ отравя злая,
И, тяжесть мертвую на душу палагая,
Кошмары цѣпкіе невидимо растутъ.

Но, хоть великъ шатеръ любого полуміра,
Хранилище-покровъ двухъ нашихъ полусферъ,
Нашъ Воздухъ лишь намекъ на пропасти Ээира,
Гдѣ неразказанность совсѣмъ иного міра,
Неполовиннаго, виѣ горъ и виѣ пещеръ.

О, свѣтоносное, великое Пространство,
Гдѣ мысли чудится всходящая стезя,
Всегда одѣтая въ созвѣздныя убранства,
Въ тебѣ міровъ и сновъ бездонно постоянство,
Никѣмъ не считанныхъ, и ихъ считать нельзя.

Начало и конецъ всѣхъ мысленныхъ явленій,
Воздушный Океанъ ээирныхъ синихъ водъ,
Ты Солнце намъ даешь надъ сумракомъ томленій,
И красные цвѣты въ пожарахъ преступленій,
И въ зеркалѣ морей повторный Небосводъ.

Долго, пристально, самозабвенно смотря на без-
конечныя видоизмѣненія облаковъ, нарастающихъ

и какъ будто безслѣдно тающихъ, дѣлающихся красивыми и некрасивыми, большими и неопредѣленными, розовыми, красными, багряными, опалово-нѣжными, свинцово-тяжкими, дымными и слабо-раскаленными, какъ очень далекое зарево,—начинаешь все яснѣе чувствовать, что и всѣ людскіе лики, и твой собственный ликъ—лишь мгновенно существующія тучки, которыя живутъ—на мѣстѣ умершаго, и умираютъ—чтобъ дать жить другому. Намъ трудно помнитъ всегда о томъ, что *πάντα ῥεῖ*, все находится въ потокѣ, намъ страшно жертвовать своимъ спокойствіемъ, недвижностью, своимъ, разъ принятымъ, ликомъ. Въ этомъ есть смыслъ, потому, что богъ Покоя—родной братъ богу Движенія. Но, когда четко помнишь, какъ Вода отдаетъ себя Огню, и какъ Огонь, безъ усталы, до побѣдности, грѣтъ холодные камни, на которыхъ начинаютъ играть безсмертныя краски, тогда не только не страшно отдавать свою малую отдѣльную личность неутолимому Великому, но и кажется желаннымъ, страстно хочется—все мѣнять, и измѣнять, въ себѣ, во имя цвѣтной Міровой Ткани безъ конца отдаваться творящему Потокѣ Жизни.

Есть печальное, красиво-печальное стихотвореніе Валерія Брюсова, *У земли*.

Помоги мнѣ, мать земля,
Съ тишиной меня сосватай.
Глыбы черныя дѣля,
Я стучусь къ тебѣ лопатой.

Ты всему живому-- мать,
Ты всему живому— сваха.
Перстень свадебный сыскать
Помоги мнѣ въ комыяхъ праха.

Мать, мольбу мою услышь,
Осчастливь послѣднимъ бракомъ.
Ты вѣнчаешь съ вѣтромъ тишь,
Лугъ съ росой, зарю со мракомъ.

Помоги сыскать кольцо.
Я объ немъ безъ слезъ тоскую,
И, упавъ, твое лицо
Въ губы черныя цѣлую.

Я тебя чуждался, мать,
На асфальтахъ, на гранитахъ...
Хорошо мнѣ здѣсь лежать
На грядкахъ, недавно взрытыхъ.

Я-- твой сынъ, я-- тоже прахъ,
Я, какъ ты, -- звено созданій.
Такъ откуда-- страсть и страхъ,
И бессонный бредъ исканій?

Въ синевѣ плыветъ весна,
Вѣтеръ вольно носить шумы...
Гдѣ ты, дѣва-тишина,
Жизнь безъ жажды и безъ думы...

Помоги мнѣ, мать. Къ тебѣ
Я стучусь съ послѣдней силой.
Или ты, въ отвѣтъ мольбѣ,
Обручишь меня съ могилой?

Въ этихъ красиво-покорныхъ строкахъ звучитъ чувство, слишкомъ больно-знакомое каждому, кто хочетъ отъ жизни безмѣрности, Красоты, и воль-

ности, но силой тупого проклятiя прикованъ къ навязанной его сознанию убогой дѣйствительности. Но здѣсь есть Талисманъ—добровольная жертва. Жертва—пугающее слово, но въ немъ радостный исходъ. Не о жертвѣ робкой, смиренной говорю я, а о смѣлой жертвѣ съ блестящими зрачками. Освободительно и дивно, когда одинъ встаетъ противъ множества, когда мысль побѣждаетъ вещество.

И не на могилахъ ли цвѣтутъ самыя зеленыя травы? Мнѣ кажется, что Земля даетъ намъ—свадебное кольцо, и что одежда ея—не черная, а изумрудная.

Земля, я неземной, но я съ тобою скованъ,
На много долгихъ дней, на бездну быстрыхъ лѣтъ.
Зеленый твой просторъ мечтою облюбованъ,
Земною красотой я сладко заколдованъ,
Ты мнѣ позволила, чтобъ жилъ я какъ Поэтъ.

Межъ тысячи умовъ мой мозгъ образовала
Въ такихъ причудливыхъ сплетеньяхъ и узлахъ,
Что все мнѣ хочется, „Еще!“ твержу я—„Мало!“,
И пытку я люблю, какъ упоенье бала,
Я быстрый альбатросъ въ безбрежныхъ облакахъ.

Не страшны смѣлому безмѣрные усилья,
Шутя перелечу я изъ страны въ страну.
Но въ томъ весь ужасъ мой, что, если эти крылья
Во влагѣ омочу, исполненный безсилья,
Воздушный, неземной, я въ Морѣ утону.

Я долженъ издали глядѣть на эти воды,
Въ которыхъ жадный клювъ добычу можетъ взять,
Я долженъ надъ Землей летать не дни, а годы.

Но я блаженствую, я—лучшій сонъ Природы,
Хоть какъ я мучаюсь,—миѣ некому сказать.

И рыбы блѣдныя, нѣмыя черепахи,
Быть можетъ, знаютъ миръ, безвѣстный для меня.
Но миѣ такъ радостно застыть въ воздушномъ взмахѣ,
Въ ненасытимости, въ поспѣшности и страхѣ,
Надъ пропастью ночей, и надъ проваломъ дня.

• Земля зеленая, я твой, но я воздушный,
Сама велѣла ты, чтобъ здѣсь я былъ такимъ,
Ты въ пропастяхъ лежишь, и я лечу, послушный,
Я страшень, какъ и ты, я чуткій и бездушный,
Хотя я весь душа, и миѣ не быть другимъ.

Зеленая звѣзда, планета изумруда,
Я такъ въ тебѣ люблю безжалостность твою,
Ты не игрушка, нѣтъ, ты ужасъ, блескъ, и чудо,
И ты спѣшишь—туда, хотя идень — оттуда,
И я тебя люблю, и я тебя пою.

Въ раскинутой твоей роскошной панорамѣ,
Въ твоей —нестынущей и въ декабряхъ—Веснѣ,
Въ вертепѣ, въ мастерской, въ тюрьмѣ, въ семьѣ, и въ храмѣ,
Миѣ вѣчно чудится картина въ дивной рамѣ,
Я съ нею, въ ней, и ниѣ, и этотъ сонъ — во миѣ.

Сказаль, и болѣе я повторять не стану,
Быть можетъ, повторю, я властенъ повторить:
Я предалъ жизнь мою лучистому обману,
Я въ безднахъ міровыхъ нашель свою Свѣтлану,
И для нея кручу блистающую нить.

Моя любовь. Земля, я съ ней силенъ—для пира,
Легенду мы поемъ изъ звуковыхъ примѣтъ.
Въ кошмарныхъ звѣздностяхъ, въ безмѣрныхъ безднахъ міра,
Въ алмазной плотности безсмертнаго Ээира—
Сонъ Жизни, Изумрудъ, Весна, Зеленый Свѣтъ!

Земля, ты такъ любви достойна, за то, что ты всегда иная.
Какъ убѣдительно и стройно все въ глуби глазъ, вся жизнь земная.
Поля, луга, долины, степи, равнины, горы, и лѣса,
Болота, преріи, мареммы, пустыни, Море, Небеса.

Улыбки, шопоты, и ласки, шурианье, шелестъ, шорохъ, травы,
Хребты безмѣрныхъ горъ во мракъ, какъ исполинскіе удавы.
Кошмарность ходовъ подъ землею, разсѣлинъ, впадинъ, и пещерь
И храмы въ страшныхъ подземельяхъ, чей страненъ сказочный
размѣръ.

Дремотный блескъ зарытыхъ кладовъ, цѣлебный ключъ въ тюрьмѣ
гранита,
И слитковъ золота сокровище, что будетъ смѣлыми отрыта.
Паденье въ пропасть, въ мракъ и ужасъ, въ рудникъ, гдѣ рабъ—
какъ властелинъ,
И горло горнаго потока, и рядъ овраговъ межъ стремнинъ.

Въ глубокихъ безднахъ Океана дворцы погибшей Атлантиды,
За сномъ потопа вновь подъ Солнцемъ, ковчегъ Атлантовъ,
Пирамиды.

Землетрясенія, ужасность—тайфуна, взрытости зыбей,
Успокоительная ясность вчера лишь вспаханныхъ полей.

Земля научаетъ гмдѣть -глубоко, глубоко.

Тѣлесные дремлютъ глаза, незримое свѣтится око.
Пугаясь, глядитъ
На тайну земную.
Земля между тѣмъ говоритъ:
Ликуй - я ликую.

Гляди предъ собой.
Есть голосъ въ веселомъ Сегодня, какъ голосъ есть въ
темномъ Вчера.
Подпочва во впадинѣ озера—глина, рухлякъ, перегной,

Но это--поверхностный слой,
Тамъ дно, а надъ дномъ глубина, а надъ глубиою волна за
волной.

И зыбится вѣчно игра
Хрустала, брилліантовъ, сафира, жемчуговъ, янтарей, се-
ребра,
Порождаемыхъ Воздухомъ, Солнцемъ, и Луною, и Землей,
и Водой.

Слушай! Пора!
Будь --молодой!
Все на Землѣ въ перемѣнахъ, слагай же черту за чертой.

Мысли сверкаютъ,
Память жива,
Звучны слова.
Дни убѣгаютъ,---
Есть острова.

Глубочайшія впадины синихъ морей
Неизмѣнно вблизи острововъ залегаютъ.
Будь душою своей--
Какъ они,
Тѣ, что двойственность въ слитность слагаютъ,
Ночи и дни,
Мракъ и огни.
Мысли сверкаютъ,
Память жива.

Не забудь острова!

Въ дикой пустынѣ, надъ пропастью водъ,
Нѣжный оазисъ цвѣтеть и цвѣтеть.
Сномъ золотымъ
Нѣжить игра.
Ниче какъ дымъ--
Станетъ Вчера.

Духомъ святымъ,
Будь молодымъ.
Время! Скорѣе! Пора!

Слышу я, слышу твой голосъ, Земля молодая,
Слышно и видно мнѣ все: я—какъ ты.
Слышу, какъ дышуть ночные цвѣты,
Вижу, какъ травка дрожить, расцвѣтая.

Только мнѣ страшно какой-то внезапной въ душѣ пустоты.
Что же мнѣ въ томъ, что возникнуть черты?
То, что люблю я, бѣжить, пропадаю.

Звучень твой голосъ, Земля молодая,
Ты многоцвѣтна навѣкъ.
Вижу я цвѣтъ твой и тайные взоры,
Слышу я стройные струнные хоры,
Голосъ подземныхъ и солнечныхъ рѣкъ,—
Только мнѣ страшно, что рвутся узоры,
Страшно, Земля, мнѣ, вѣдь я Человѣкъ.

Что-жь мнѣ озера, и Море, и горы?
Вѣчно-ли буду съ одною мечтой?
Юноша страшень, когда онъ сѣдой.

Явственно съ горнаго склона я
Вижу, что ты
Не только зеленая.
Въ пурпуръ такъ часто ты любишь рядить
Нѣжность своей красоты,
Красную въ ткани проводишь ты нить.

Ты предстаешь мнѣ какъ темная, жадная,
И неоглядная,
Страшно-огромная, съ этими взрывами скрытыхъ огней,

Вся еще только—намекъ и рожденіе,
Вся— заблужденіе
Быстрыхъ людей и звѣрей,
Еся еще— алчксссть и крики незнаія,
Непониманіе,
Бѣшенство дней и безумство ночей,
Только сгораніе, только канунъ прсвѣтленія,
Еле намѣченный стихъ пѣснопѣнія
Блескъ святихъ Откровенія,
Съ царствомъ такого блаженства, гдѣ стонъ не раздается
ничей.

Да, я помню, да, я знаю запахъ пороха и дыма,
Да, я видѣлъ слишкомъ ясно: Смерть какъ Жизнь неспѣдима.
Вотъ, столкнулась гряда съ грудой, туча съ тучей саранчи,
Отвратительное чудо, ослѣпительны мечи.

Человѣкъ на человѣка, ужась бѣшеной погони,
Почва взрыта, стукъ копыта, мчатся люди, мчатся кони,
И подъ тяжестью срудій, и подъ яростью копытъ,
Звукъ хрустѣнья, дышутъ люди, счастливы, кто совѣтъ убить.

Запахъ пороха и крови, запахъ пушечнаго мяса,
Изуродованныхъ мертвыхъ сумасшедшая гримаса.
Новой жертвой возникаютъ для чудовищныхъ бойницъ
Вереницы пыльных, грязныхъ, безобразныхъ, потныхъ лицъ.

О, конечно, есть отрада въ этомъ страхѣ, въ этомъ зноѣ,
Благородство безразсудныхъ, въ смерти свѣтлые герои.
Но за ними, въ душномъ дымѣ, палъ за темнымъ рядомъ рядъ
Противъ воли въ этой бойнѣ умирающихъ солдатъ.

Добиванье недобитыхъ, разстрѣлянье дезертира,
На такой меня зовешь ты праздникъ радостнаго пира?
О, Земля, я слышу стоны оскверненныхъ дѣвъ и женъ,
Побѣжденъ мой врагъ заклятый, но побѣдой Я сраженъ.

Помню, помню я другое. Ночь. Неаполь. Сонъ счастливый.
Какъ же все переѣнилось? Люди стали смертной нивой!
Отвратительно-красивый отблескъ лавы клочкоталъ,
Точно чѣмъ-то былъ поддѣланъ между этихъ черныхъ скалъ.

Въ страшной жидкости кипѣла точно чуждая прикраса,
Какъ разорванное тѣло, какъ растерзанное мясо.
Точно пинія вздымался расплзающийся паръ,
Накоплялся и взметался ужасающей пожаръ.

Красный, сѣрый, темно-сѣрый, бѣлый паръ, а снизу лава,—
Такъ чудовищный Везувій забавлялся величаво.
Изверженье, изверженье, въ самомъ словѣ ужасъ есть,
Въ немъ уродливость намековъ, всѣхъ оттѣнковъ намъ не счастье.

Въ немъ размахъ, и пьяность, рьяность огневого водопада.
Убѣдительность потока, отвратительность распада.
Тамъ, въ одной спаленной грудѣ, звѣри, люди и дома,
Пепель, болѣе губящій, чѣмъ Азійская Чума.

Свѣтъ искусства, слово мысли, губы въ первомъ поцѣлуѣ,
Замели, сожгли, застigli лавно-пепельныя струи.
Ненасытнаго удава звенья сжали цѣлый мѣръ,
Здѣсь хозяинъ пьяный — Лава, будутъ помнить этотъ пиръ.

Что-же, что тамъ шелестить?
Точно шорохъ тихихъ водъ.
Что тамъ грезить — спать не спать,
Наростасть и пость?

Безглагольность. Тишина.
Мѣръ полночень. Все молчить.
Чья-же тамъ душа слышна?
Что такъ жизненно звучить?

Голосъ вѣчно-молодой,
Хоть почти-почти безъ словъ.

Но прекрасный, но святой,
Какъ основа всѣхъ основъ.

Перекатная волна.
Но не море. Глубоко
Дышетъ жизнь иного сна.
Подъ Луной ей такъ легко.

Это нива. Ночь глядитъ.
Ласковъ звѣздный этотъ взглядъ.
Нѣжный колосъ шелестить.
Всѣ колосья шелестять.

Отгибаются, поютъ,
Наклоняются ко сну.
Соки жизни. Вѣчный трудъ.
Кротко льнетъ зерно къ зерну.

Что тамъ дальше? Цѣлый строй
Неживыхъ - живыхъ стволовъ.
Гроздь ягодъ надъ Землей.
Вновь основа всѣхъ основъ.

На тычинкахъ небольшихъ
Затаенная гроза,
Звонкій смѣхъ, и звонкій стихъ,
Мигъ забвенія, лоза.

Радость свѣтлая лица.
Звѣзды ласково глядятъ.
Зрѣть, спѣть безъ конца
Желтый, красный виноградъ.

Эти ягоды сорвутъ,
Разомнутъ ихъ, выжмутъ кровь.
Весель трудъ. Сердца поютъ.
Въ жизни вновь живетъ Любовь.

О, побѣдное зерно,
Гроздья ягодъ бытія!
Будеть бѣлое вино,
Будеть красная струя!

Протечеть за годомъ годъ,
Жизнь не можетъ не спѣшить.
Только колось не пройдетъ,
Только гроздья будутъ жить.

Не окончатся мечты,
Всѣмъ засвѣтится Весна!
Литургія Красоты
Есть, была, и быть должна!

Пѣвецъ личности и жизни

(Уольтъ Уитманъ)

Мнѣ всегда казалось интереснымъ, что на извѣстной ступени сознанія, на извѣстномъ уровнѣ чувствованія, совсѣмъ различныя души, или души лишь схожія отдаленно, могутъ выразаться вполне тождественно. Есть незримые острова, которые на каждого глянуть одними и тѣми же очертаніями, если человѣкъ пройдетъ извѣстные пути.

„Безъ покрова печали мнѣ никогда не являлось божественное въ жизни“, говоритъ мало у насъ извѣстный, но замѣчательный нѣмецкій поэтъ Ленау, авторъ превосходнаго Фауста. „Красота какого бы то ни было рода, въ высшемъ ея развитіи, неизмѣнно возбуждаетъ впечатлительную душу до слезъ“, говоритъ Эдгаръ По. „Melancholy,“—добавляетъ онъ, „печаль, есть такимъ образомъ наиболѣе законное изъ всѣхъ поэтическихъ настроеній“.

Если бы я сталъ отыскивать формулы красоты въ словахъ другихъ большихъ и великихъ поэтовъ, какъ старыхъ, такъ и новыхъ, я могъ бы привести цѣлый рядъ опредѣленій, совпадающихъ съ формулой Ленау и Эдгара По, съ формулой, устанавливающей тѣсную неразрывную связь между красотой

и печалью. Но не беря простых словесных определений, а обращаясь къ міру незабвенныхъ поэтическихъ образовъ, созданныхъ изысканными душами поэтовъ, не видимъ ли мы, на самомъ дѣлѣ, неуклонное стремленіе творческой фантазіи связывать лучшія свои достиженія съ ощущеніемъ душевной боли? Почему мы любимъ Библию, Эсхила, Софокла, почему намъ дороги Шекспиръ и Данте, Гете и Байронъ, Левъ Толстой и Достоевскій? Вспомните. Мы любимъ ихъ за красивую боль, которую они намъ причинили и продолжаютъ причинять. Проклинающій небо Іовъ, съ исполинской пронзенной душой, вопіющей о неправедностяхъ міра; окровавленный Апостолъ челоѣчества, Прометей, прикованный къ скалѣ; мучительный Эдипъ, ослѣпленный за чрезмѣрную свою зоркость; царственный Макбетъ и сомнамбула леди Макбетъ, два ночные призрака, окруженные дьявольскимъ ореоломъ изъ красныхъ цвѣтовъ; тоскующій Гамлетъ и утопленница Офелія; трагическіе лики Антонія, Лира, Корделии, Клеопатры, Дездемоны; сраженные однимъ ударомъ, Паоло и Франческа, въ ураганѣ, вращающемъ призраки преступной любви; Грэтхенъ, на тюремномъ полу, дѣвушка, заплатившая за любовь плахой; таинственный Манфредъ, съ душою, исполненной міровыхъ воплей; чарующая Анна Каренина, бросившая свое любимшее тѣло подъ поѣздъ; полубезумные, страшные, своей болью влекущіе, своей уродливостью манящіе и завлекающіе облики Карамазовыхъ и Раскольниковъ, Рогожина и Сви-

дригайлова, и Грушеньки, и Насти, этихъ женщинъ съ кошачьей, съ пантерной душой; все боль и боль, нагроможденье боли, преступность, меланхолія, мракъ, темный покровъ печали, усѣянный свѣтлыми пятнами, черный ночной небосводъ, красивый своими провалами, пьянящій страшной бездонностью своихъ междузвѣздныхъ пространствъ.

Великіе поэты, стремясь къ созданью красоты, и желая чарами поэзіи подчинить себѣ души людей, обращаются къ области печали, какъ къ области наиболѣе имъ надлежащей, и доставляющей имъ наиболѣе вѣрныя средства достигать художественной побѣды, создавать гипнотизирующія чары.

И потому въ огромномъ большинствѣ поэты являются пѣвцами боли, утраты, и смерти, а не пѣвцами жизни, утра, и достиженья. О, насколько легче вращаться въ области печали! Чтобы выразить ее, у насъ есть скрипки флейты, инструменты пѣжные, какъ мягкіе тона зимней лунной ночи и лѣтняго разсвѣта въ лѣсу. Чтобы выразить ощущение достѣженія, чтобы могъ раздастся утвердительный ропотъ жизни и жизнерадостной личности, у насъ нѣтъ почти ничего, кромѣ трубъ, и боевого рога, и волны барабаннаго боя. Но, если трудность достиженія усиливаетъ цѣнность достигнутаго, мы вдвойнѣ, вдесятернѣ, должны цѣнить тѣхъ поэтовъ, которые сумѣли дать намъ образцовыя созданья, отмѣченныя не печатью красивой печали, а нѣжнымъ румянцемъ молодого лица, которому хочется жизни и жизни. Великіе творцы-поэты срываются

и падаютъ, когда задаются желаньемъ создать красоту не въ печальныхъ покровахъ, а въ веселой одеждѣ. Типичный поэтъ радости и жизни, Уильямъ Уордсуортъ, въ девяти десятихъ своего творчества просто нестерпимъ и пошлъ. Гете скученъ въ своимъ идилліяхъ. Добродѣтельныя заключенія многихъ драмъ Шекспира могутъ вызывать въ насъ чувство негодованія. Данте безцвѣтенъ въ доброй части своего Рая. Два положительные типа Достоевскаго, Алеша и Соня, потому насъ и влекутъ, что первый утонченъ до ненормальности, а вторая ненормальна до утонченности. Самъ великій Толстой, которому на міровомъ состязаніи геніевъ Судьба присудила львиную долю добычи, впадаетъ въ плоскость, когда замышляетъ быть художникомъ радостной жизни.

И потому, говорю я, вдвойнѣ мы должны цѣнить великихъ пѣвцовъ жизни. Изъ нихъ мнѣ кажутся главными, и не только главными, но и единственно-великими, Англійскій утонченный Аріэль, Шелли, и могучій, какъ грубое узлистое дерево, сильный, какъ старый вязъ, бардъ свободной Америки, Уольтъ Уитманъ.

Русская публика приблизительно знаетъ, что такое Шелли, но въ подавляющемъ большинствѣ она не только не знакома съ поэзіей и жизнью Уольта Уитмана, а даже не знаетъ его имени. Вышшимъ образомъ это обстоятельство можетъ быть въ значительной степени объяснено тѣмъ, что Уитманъ въ своемъ творствѣ совершенно поры-

васть съ обще-Европейскими литературными формами, и совсѣмъ не имѣеть тѣхъ общедоступныхъ элементовъ красоты, которые легко привлекають къ себѣ большую публику. Внутреннимъ образомъ— онъ черезчуръ усложненъ, отвлеченъ, и, кромѣ того, онъ слишкомъ много ввелъ въ свои стихи элементовъ чисто-Американскихъ, мѣстныхъ. Притомъ же онъ написалъ, строго говоря, одну только книгу, книгу стиховъ, *Leaves of Grass*, Листья травы, Побѣги травы. Но этой своей книгой и всей своей жизнью, въ которой мечта слита съ дѣйствительностью, Уитманъ далъ образецъ новаго человѣка, всеобъемлющаго человѣка второй половины XIX-го столѣтія. Онъ слилъ воедино элементъ литературный, политическій, религіозный, съ элементомъ чисто-жизненной дѣйственности, глубокая душа соединилась здѣсь съ красивымъ сильнымъ тѣломъ, безстрашіе мысли съ безстрашіемъ дѣйствія, все это существо справедливо взяло своимъ символомъ побѣги травы,—зеленое сильное стремленіе, окруженное воздухомъ, цѣпко ухватившееся за родную землю, но смѣло глядящее на далекое Солнце.

Изъ Американскихъ поэтовъ Русской публикѣ особенно пришелся по душѣ Эдгаръ По. Но у Эдгара По глубокая утонченная аристократическая душа. Тутъ можно припомнить поучительную исторію. Въ Оксфордѣ, въ этомъ старинномъ университетскомъ городѣ, въ умственной столицѣ Англійскихъ созерцательныхъ душъ, при многихъ домахъ,

и при всѣхъ колледжахъ существуютъ, прекрасные газоны съ поразительно-нѣжной зеленью. Въ одномъ изъ такихъ скверовъ нѣкая Американская лэди спросила садовника, какимъ образомъ лужайка можетъ быть доведена до такого удивительнаго совершенства, до такой безукоризненной изумрудности газона. Отвѣтъ былъ слѣдующій: „Если вы будете укатывать ее и орошать правильно втеченіе приблизительно трехъ столѣтій, вы получите совершенно такіе же результаты“. Эдгаръ По, хотя и Американецъ, былъ истиннымъ джентльменомъ изъ Оксфорда, съ его чудными библіотеками, съ его сѣдыми колледжами, съ его перезвонами башенъ, съ печальными тѣнистыми аллеями изъ тысячелѣтнихъ деревьевъ, и съ роскошными парками, гдѣ каждый день, въ строго-опредѣленномъ порядкѣ, раскрываются новые цвѣты.

Уольтъ Уитманъ, напротивъ, является хаотически юной необузданной и недисциплинированной душой, для которой все вновь, для которой Мірозданіе началось только сегодня, убѣдительно только сегодня, заманчиво, цѣнно, при всѣхъ своихъ спутанностяхъ, только сегодня. Онъ любитъ всѣхъ, онъ любитъ все. Его впечатлительность неразборчива и прожорлива, какъ допотопный Левіафанъ. Но, какъ допотопное грузное и грозное чудовище, онъ переноситъ насъ къ утру Мірозданія, и даетъ намъ ощущеніе огромныхъ творческихъ пространствъ Земли и Воды.

Уольтъ Уитманъ воспѣваетъ личность, берущую

все изъ прошлаго, что было въ немъ сильнаго, но лишь затѣмъ, чтобъ сдѣлать свой день единственнымъ по силѣ новизны. Кто дѣйствительно живетъ въ своей жизни, тотъ не можетъ не ощущать, что до него какъ будто и не было жизни, были лишь приближенія.

Я говорю, что никто еще не былъ наполовину достаточно благоговѣннымъ,
Наполовину никто не молился достаточно, не обожалъ,
Думать не началъ никто, какъ божествененъ онъ, и какъ вѣрно грядущее.

Уольтъ Уитманъ чувствуетъ себя пѣвцомъ сильной личности, и своего ненасытно-стремящагося народа, исполненнаго ощущеній свободы, — своей молодой страны, хаотически рвущейся къ массовымъ созданьямъ новыхъ формъ жизни. Чувствуя себя новымъ, онъ отбрасываетъ старое, и прежде всего, будучи поэтомъ, онъ отбрасываетъ старую форму стиховъ.

Прочь эти старыя сказки!
Прочь эти повѣсти, замыслы, драмы дворовъ чужестранныхъ,
Прочь эта сахарность рнемъ въ любовныхъ стихахъ,
Съ интригами, съ праздною сѣтью любвей.

Для юной кряжистой натуры, жаждущей новаго творчества, и любящей стукъ топора въ лѣсахъ, гдѣ еще не ступала нога человѣка, заманчивость жизни не въ тѣхъ очаровательностяхъ, которыя влекутъ усталыя души въ голубые и нѣжно-палевые салоны, съ утонченной мебелью, и съ блѣдными картинами, полными смягченныхъ тоновъ.

Уольтъ Уитманъ воспѣваетъ простое сильное
„Я“ молодой расы.

Одного воспѣваю я, личность, простую, отдѣльную,
Но слово мое для Народа, мой лозунгъ для всѣхъ.
О тѣлѣ живущемъ пою, съ головы и до ногъ.
Не только лицо и мозгъ
Достойны, сказала мнѣ Муза,
Она мнѣ сказала, что много достойнѣе Форма въ своемъ
завершеннѣи.

И Женщину я наравнѣ воспѣваю съ Мужщиной.
О жизни безмѣрной въ бѣснѣи, во власти и страсти,
Веселой, для вольныхъ дѣяній
По законамъ божественнымъ созданной,
Я пою.
Человѣка пою Нашихъ Дней.

Человѣкъ божествененъ, говоритъ Уольтъ Уитманъ. Если онъ не видитъ божественности въ себѣ, и въ своихъ братьяхъ, онъ не найдетъ ее нигдѣ въ мирѣ. Въ стихотвореніи Къ вамъ онъ говоритъ:

Я оставлю всѣхъ и приду и создамъ я гимнъ о васъ:
Никто васъ не понялъ, но я понимаю васъ;
Никто справедливъ съ вами не былъ — вы сами съ собой спра-
[вдливыми не были;

Васъ находилъ несовершеннымъ каждый;
Несовершенство въ васъ не нашель только я.
Всякій хотѣлъ подчинить васъ; одинъ только я никогда
Не соглашусь подчинить васъ.
Не помѣщаю надъ вами лишь я господина, и собственника,
Лучшаго, Бога, того, что за гранью живущаго внутренно въ васъ.
Живописцы писали роями кишачія группы,
И фигуру центральную всѣхъ,

И вокруг головы центральной фигуры ореолъ златоцвѣтнаго
Но я пишу мириады головъ, [свѣта.
Ни одной головы безъ ся ореола лучей златоцвѣтнаго свѣта,
Отъ моей онъ стремится руки, и изъ мозга всѣхъ женщинъ,
Истекаетъ сіяньемъ всегда. [любого мужчины,

Такъ любя современнаго новаго человѣка, освобожденнаго отъ рабскихъ путъ, Уольтъ Уитманъ создаетъ, одинъ за другимъ, гимны душѣ и тѣлу. Онъ не разрываетъ брата съ сестрой, онъ всегда чувствуетъ плѣнительную непрерывность мистическаго брака матеріи съ духомъ, вещества съ душой. Не всегда возможно процитировать какой-либо изъ самыхъ его существенныхъ, поразительно-смѣлыхъ гимновъ человѣческому тѣлу, гдѣ онъ воспѣваетъ каждую часть нашего тѣла, въ каждой части видить красоту, и воспѣваетъ каждый моментъ человѣческой страсти. Но я приведу здѣсь превосходное его стихотвореніе Ласка орловъ, гдѣ поэзію влюбленной тѣлесности онъ переноситъ въ воздушную область вѣтровъ и летящихъ крыльевъ, даетъ намъ видѣть, какъ прекрасны птицы въ воздухѣ.

Иди вдоль рѣки по дорогѣ (это утромъ мой отдыхъ, прогулка).
Я въ воздухѣ, тамъ, ближе къ небу, заглушенный услышалъ звукъ.
Внезапная ласка орловъ, любовная схватка въ пространствѣ,
Сплетеніе вмѣстѣ высоко, сомкнутые сжатые когти,
Вращеніе, бѣшенство, ярость живого вверху колеса,
Четыре могучихъ крыла, два клюва, сцѣпленіе массы,
Верченье, круженье комка, разрывы его и увертки,
Прямое паденіе внизъ, покуда, застывъ надъ рѣкою,
Два вмѣстѣ не стали одно, въ блаженномъ мгновеньи затишья

Вотъ, въ воздухѣ медлятъ они въ недвижномъ еще равновѣснѣ, —
Разлука, и втянуты когти, и вотъ они, медленно, снова
На крѣпкихъ и вѣрныхъ крылахъ, вкось, въ разномъ отдѣлѣ
Летятъ, онъ своею дорогой, свою дорогу она. [номъ полетѣ]

Въ любви къ тѣлу Уитманъ не останавливается на одномъ только строѣ явленій. Онъ слишкомъ художникъ, чтобы любить только женское тѣло. Истинно-видящій глазъ видитъ все. Красота мужчины плѣняетъ этого поэта не менѣе, чѣмъ красота женщины. Онъ касается тонкихъ, страшно-тонкихъ струнъ нашей души, идущей въ извѣстныя мгновенья созерцательности слишкомъ далеко, по дорогамъ, уводящимъ къ необычному, къ невыработанному, къ неосуществленному. У людей Эпохи Возрожденія это чувство имѣетъ болѣе утонченный и, быть можетъ, болѣе извращенный характеръ, чѣмъ у современнаго Американскаго поэта. Въ созданіяхъ Микель Анджело тѣла женщинъ отличаются не столько женственной, сколько мужественной красотой, даютъ намъ типы женщинъ съ какой-то другой планеты, куда не чувствуетъ тяготѣнія никто изъ ощущающихъ истинное очарованіе женственности. Въ геніальныхъ рисункахъ Леонардо да Винчи мы видимъ упорно повторяющійся ликъ юнаго андрогина, тоже существо не нашей планеты, болѣе влекущее, но говорящее о томъ мірѣ чувствованій, гдѣ все окутано змѣиною зыбкостью, исполнено невѣрныхъ очертаній, намековъ на что-то орхидейное, тепличное, душистое, и удушливое. Въ знаменитомъ стихотвореніи Уитмана Мой образъ

Земля, насъ волнуеть и страшить подобная же змѣиная уклончивость и недоговоренность, но въ то же время мы чувствуемъ нѣчто первобытно-сильное, понятное въ силу своей рельефности, допустимое въ силу своей могучести.

Нужно сказать также, что въ данной области Уитманъ очень осторожно вводитъ элементъ чувственности, и не этотъ элементъ въ такихъ гимнахъ господствуетъ. То, что ему настойчиво снится, это поэзія товарищества, поэзія какъ бы нѣкоторой идеальной Запорожской Сѣчи, дружины, гдѣ всѣ други, въ смыслѣ красоты чувства и личности.

Мнѣ снилось во снѣ, что я вижу невѣдомый городъ,
Непобѣдимый, хотя бѣ на него и напали всѣ царства земли,
Снился мнѣ новый городъ Друзей,
Самымъ высокимъ тамъ — качество было могучей любви,
Выше ничто, и за ней все идетъ остальное,
Зрима была она ясно мгновение каждое,
Въ дѣйствіяхъ жителей этого города,
Въ ихъ взорахъ, во всѣхъ ихъ словахъ.

Но, во всякомъ случаѣ, до Уитмана не было такого смѣлаго, такого беззавѣтнаго, и такого всеобъемлющаго пѣвца человѣческаго тѣла.

Уольтъ Уитманъ—пѣвецъ и человѣческой души, и человѣческаго тѣла, этого естественнаго нашего храма, который мы оскверняемъ своимъ непризнаніемъ, уродуемъ не видя его божественности. Мы приносимъ наши ощущенія, усматривая косымъ окомъ грѣхъ и низменность тамъ, гдѣ есть только утро страсти, гармонія возрождающаго генія, блаженство

забытья, отъ котораго блѣднѣють лица до превращенія ихъ въ лики неземные, и расширяются зрачки, какъ растутъ, расширяясь, звѣзды отъ прозрачности чистаго воздуха въ предѣлахъ пламеннаго Юга.

Что-то въ лучшемъ смыслѣ библейское, и что-то, одновременно, утонченное, дошедшее до насъ изъ дней грядущихъ, слышится въ такомъ тѣлесномъ гимнѣ Уитмана:

Какъ Адамъ раннимъ утромъ,
Выхожу изъ почной я бесѣдки, освѣженный сномъ,
Глядите, какъ я прохожу, услышьте мой голосъ, приблизьтесь,
Прикоснитесь ко мнѣ, прикоснитесь ладонью руки
До тѣла, пока прохожу я,
Не бойтесь, не страшно
Тѣло мое!

Человѣкъ есть мѣра Вселенной. Великія слова, которыя должно выжечь сознаниемъ въ своей душѣ. Начертать на пергаментѣ мысли эти острыя письмена. Занести ихъ красками нѣжными на волнующихся тканяхъ перемѣнчивой мечты.

Что особенно плѣняетъ въ Уольтѣ Уитманѣ, какъ человѣкъ и поэтъ, это великая сложность простоты, очарованье и простота истинно-сложнаго природнаго явленья. Зерно, изъ котораго пробивается ростокъ, и ростокъ вырастаетъ въ стебель, и стебель превращается въ стволъ, покрытый боковыми побѣгами, и стволъ утолщается, кругъ вырастаетъ за кругомъ, и пышная листва шумитъ, и шелеститъ, и зеленѣетъ, и на вѣткахъ, одѣтыхъ рукою Весны, дышуть цвѣты, и въ лиственной чашѣ поютъ смѣ-

лымъ голосомъ птицы, а выше, тамъ выше,—что это,—Небо, облака, безбрежность жизни, безграничность красоты.

Поэтъ съ тѣломъ гладіатора, съ гармоничнымъ лицомъ красиваго звѣря, полнаго природныхъ силъ, Уитманъ былъ однимъ изъ тѣхъ отошедшихъ первоородныхъ людей, которые проводили цѣлые дни, недѣли, и мѣсяцы въ лѣсахъ и степяхъ, на охотѣ, и прижимали ухо къ землѣ, чтобы слышать отдаленнѣйшіе шумы и ропоты. Отецъ Уольта Уитмана былъ плотникомъ, и въ стихахъ его сына мы чувствуемъ удары топора. Его мать была по происхожденію Голландкой, и въ поэзіи Уитмана мы такъ часто видимъ, столь свойственное Голландцамъ и Фламандцамъ, преклоненіе передъ непосредственнымъ, передъ красотой, воплощающейся ежеминутно въ нашей повседневнои, ненасытное обожаніе дѣйствительности. Бѣольшую часть своихъ поэмъ Уитманъ написалъ на открытомъ воздухѣ. Цѣлые мѣсяцы, цѣлые годы онъ провелъ такъ, что постоянно ѣздилъ верхомъ, катался въ лодкѣ, ходилъ на огромныя разстоянія пѣшкомъ, *вбирая въ себя* поля, берега, морскія пространства, событія, характеры, прохожихъ, фермы, города, безконечность городовъ. По цѣлымъ часамъ, обнаженный, онъ бродилъ по плотному приморскому песку, и поды крики чаекъ читалъ нараспѣвъ Гомера и Шекспира. Въ простой одеждѣ онъ входилъ въ ряды рабочихъ и говорилъ, и не только смотрѣлъ, и не только слушалъ, но видѣлъ и слышалъ. Онъ

посѣщаль плавильни, лавки, мельницы, бойни, фабрики, заводы, корабельные доки, онъ приходилъ на свадьбы, на крестины, аукціоны, бѣга, и гонки. Онъ зналъ каждаго омнибуснаго кондуктора въ Нью-Йоркѣ. И никакую сцену природной красоты, ни яблони въ цвѣту, ни лилейный кустъ, гдѣ каждый листъ есть чудо, ни широкій воздухъ, ни заходящее Солнце, ни благовонный вѣтерокъ, напоенный дыханіемъ травъ, онъ не любилъ такъ, какъ людныя улицы гигантскаго Нью-Йорка, съ ихъ „неисчислимыми глазами“. Уитманъ былъ читатель душъ людскихъ. Онъ былъ звѣздочетъ людскихъ глазъ.

Сказать, что онъ былъ демократъ и пѣвецъ Демократіи, это значить дать незнающему невѣрное ощущеніе. Ничего не говорить намъ, несвѣдущимъ, это затасканное слово. Уитманъ былъ натурой глубоко-религіозной, въ истинномъ смыслѣ этого понятія. Онъ лепѣялъ въ душѣ своей неистощимый запасъ способности преклоненья, восхищенья, обоготворенья, нѣжнаго благоговѣнья. Эта способность вся была устремлена на жизнь. Этотъ сильный человѣкъ твердо стоитъ на землѣ, и говоритъ: „Люблю Землю“. Демократію Уитманъ разсматриваетъ, главнымъ образомъ, не какъ политическое явленіе, а скорѣе какъ форму религіознаго энтузіазма. Вольный союзъ мыслящихъ личностей, гдѣ каждый гармонично выдѣляетъ изъ себя магнетизмъ—тѣмъ, что онъ силенъ, здоровъ, и свободенъ.

Какое сильное проявленье такого магнетическаго

тока могъ осуществлять онъ самъ, видно изъ слѣдующаго маленькаго событія. Въ одномъ изъ глухихъ закоулковъ Бостона онъ случайно встрѣтилъ уличнаго бродягу, котораго зналъ когда-то невиннымъ ребенкомъ. Теперь это былъ взрослый юноша, искусившійся въ порокъ, онъ только-что бѣжалъ изъ Канады отъ преслѣдованія полиціи, и черты его лица, на которомъ была неотрицаемая печать грѣха, носили еще слѣды отъ недавней кровавой свалки въ Нью-Йоркѣ, гдѣ, какъ полагалъ онъ, онъ кого-то убилъ. Бродяга быстро рассказалъ все это Уольту Уитману, побужденный на полную откровенность именно добротой и полной чистотой Уольта Уитмана, той нѣжностью, которая, въ силу своей тонкости, любить всѣхъ и все. Уитманъ далъ ему, что могъ, изъ своихъ денегъ. И, прощаясь, на мгновенье отъ охватилъ своей рукою его шею и, наклонившись къ этому ужасному, избитому, преждевременно-старому лицу отверженца, онъ поцѣловалъ его въ щеку, и этотъ загнанный бродяга, быть можетъ впервые въ своей низкой жизни встрѣтивъ такой солнечный знакъ любви и состраданія, поспѣшно удалился съ рыданьями, глубоко потрясенный.

Человѣкъ съ такою душой, могъ написать строки, носящія названіе Къ тебѣ.

Незнакомецъ, коль ты, проходя, повстрѣчаешь меня,
И со мной говорить пожелаешь,
Почему бы тебѣ не начать разговора со мной?
Почему бы и мнѣ не начать разговора съ тобою?

Какимъ тонкимъ чувствомъ успокоенія и общечеловѣческой близости вѣтъ отъ этихъ немногихъ словъ! Уитманъ маніемъ руки превращаетъ сложный міръ, гдѣ страшно и холодно, въ большую, но уютную комнату, гдѣ глаза безъ страха глядятъ въ глаза, и рука невольнымъ и легкимъ жестомъ прикасается къ другой рукѣ, не чужой, но уже родной.

Въ этомъ смыслѣ Уитманъ настоящій чаровникъ. Въ двухъ-трехъ словахъ онъ умѣетъ дать намъ извѣстный толчокъ, устремить нашу душу въ мечтанье, и вызвать мгновенную картину.

Кто умѣлъ говорить такъ кратко?

КРАСИВЫЯ ЖЕНЩИНЫ.

Женщины ходятъ, сидятъ, молодыя и старыя,
Молодыя красивы красивѣе старыя юныхъ.

СТАРЫЕ ЛЮДИ.

Я вижу въ васъ устье рѣки, что растетъ, расширяется,
Вливаясь въ великое море.

МАТЬ И ДИТЯ.

Я вижу, дитя задремало, какъ въ гнѣздѣ, на груди материнской,
Мать и ребенокъ спятъ о, долго я ихъ изучаю.

КАРТИНА ФЕРМЫ.

Гумно, открыта дверь широкая овина,
И видно пастбище, на немъ рогатыя скоть,
Пасутся лошади, подъ солнечнымъ сіяньемъ,
А тамъ туманъ, и ширь, и дальній горизонтъ.

О комъ бы ни заговорилъ Уитманъ, онъ чувствуетъ неразрывную съ нимъ связь. Онъ говоритъ о перевоздателяхъ, которыми движется человѣческая исторія. Онъ чувствуетъ себя однимъ изъ этихъ избранныхъ, онъ чувствуетъ себя бойцомъ, затѣявшимъ великую сложную битву.

Когда размышляя я въ молчаньи,
Къ поэмѣ моимъ возвращаясь, и думая, медля такъ долго,
Призракъ предсталъ предо мной недовѣрчивый съ виду,
Страшный въ своей красотѣ, возрастѣ, власти,
Геній пѣвцовъ старыхъ странъ,
Ко мнѣ обращая глаза подобные пламени,
Своимъ указуя перстомъ на многія пѣсни безсмертныя,
„Что поешь?“ угрожающимъ голосомъ мнѣ онъ сказалъ,
„Иль не знаешь, что есть лишь единственный замыселъ
Для бардовъ живущихъ вовѣкъ?
Говорить о Войнѣ, о превратностяхъ битвы,
Совершенныхъ готовить бойцовъ!“

Такъ да будетъ, я молвилъ въ отвѣтъ,
О, надменная Тѣнь, я вѣдь тоже войну воспѣваю,
И длиннѣе она, и величественнѣй всѣхъ другихъ.
Начата она въ книгѣ моей, съ перемѣнной удачей,
Съ наступленіемъ, съ бѣгствомъ, съ движеньемъ впередъ,
съ отступленьемъ,
Съ проволочкой въ побѣдѣ, съ еще не рѣшенной побѣдой,
(Хоть она достовѣрна, какъ кажется мнѣ, иль почти до-
Какъ я вижу, въ концѣ концовъ!) [стовѣрна,
Поле битвы есть мѣръ,
Не на жизнь, а на смерть эта битва, за Тѣло и вѣчную Душу.
Вотъ, явился и я, чтобы пѣть пѣсню битвы,
И я прежде всего поощряю
Смѣлыхъ бойцовъ.

Но вотъ онъ, чей духъ такой боевой, слышнѣтъ

**какую-то пѣвицу, просто дѣвушку или женщину,
которая поетъ какую-то пѣсню, и полный отклика
на все, онъ отдаетъ ей свои привѣтственные слова.**

КЪ НѢКОТОРОЙ ПѢВИЦѢ.

Вотъ, возьми этотъ даръ,
Я его сохранялъ для героя какого-нибудь,
Для оратора, для полководца,
Для кого-нибудь, кто бы служилъ
Доброму старому дѣлу,
Великой идеѣ, росту и вольности расы,
Какому нибудь храбрецу, что смотреть тиранамъ въ глаза,
Какому-нибудь дерзновенному,
Понявшему слово мятежъ;
Но я вижу теперь то, что я сохранялъ,
Тебѣ надлежитъ, какъ любому.

Онъ весенній, онъ мальчикъ, задорный мальчишка съ другимъ столь же юнымъ мальчишкой, исполненнымъ смѣха Весны.

Мы двое мальчишекъ, другъ къ другу мы льнемъ,
Другъ друга не бросимъ, и вмѣстѣ идемъ,
Направо, налево, на Югъ, и на Сѣверъ;
Мы сильны, и локти умѣемъ разставить,
И пальцы умѣемъ сжимать.
Оружіе съ нами, и нѣтъ съ нами страха,
Ѣдимъ мы, и пьемъ мы, и спимъ мы, и любимъ,
Одинъ намъ законъ есть, законъ тотъ мы сами,
Пловцы мы, солдаты, разбойники, воры,
Въ тревогѣ всѣ скряги, вся челядь, поны.
Мы воздухъ вдыхаемъ, пьемъ свѣтлую воду,
Мы пляшемъ на дернѣ зеленомъ и взморьѣ,

Беремъ города, презираемъ покой,
Хочемъ, смѣемся надъ сводомъ уставовъ,
И слабость мы гонимъ, что нужно, беремъ.

Чувство единенія съ людьми возростаеть, и его мечта охватываетъ далекія пространства.

Въ это мгновеніе, когда я одинъ полонъ мысли и грусти,
Кажется мнѣ, что другіе есть люди тамъ въ странахъ другихъ,
Также какъ я одинокіе, полные грусти и мысли,
Кажется мнѣ, что гляжу я и ясно ихъ вижу,
Всюду, въ Германіи, Франціи, или Италіи,
Вижу въ Испаніи, дальше, въ Китаѣ, въ Россіи,
Рѣчь ихъ другая, и кажется мнѣ, что, когда бы
Могъ я узнать ихъ, я такъ же бы къ нимъ привязался,
Какъ я привязанъ къ живущимъ въ краяхъ мнѣ родныхъ,
Знаю, мы были бы братьями, были бь друзьями,
Знаю, навѣрно я счастье бы съ ними узналъ.

Это чувство гармонической связи съ живымъ
возростаеть до обожествленія того, о чемъ ду-
маешь. Свѣтлой толпой возникаютъ новые боги,
новые въ старомъ, и вѣчные.

Любовникъ божественный, безупречный Товарищъ,
Ждущій, незримый еще, но вполне достовѣрный,
Будь моимъ Богомъ.
Ты, ты, о, Совершенный Человѣкъ,
Способный, свѣтлый, и красивый,
Довольный, любящій,
Широкій въ духъ, завершенный въ тѣлѣ,
Будь моимъ Богомъ.
О, Смерть (ибо Жизнь свой чередъ отслужила),
Открыватель, привратникъ жилища небеснаго,
Будь моимъ Богомъ.
Сильнѣйшее, и лучшее, что вижу,

Что знаю, постигаю (чтобъ разрушить
Оковы водъ стоячихъ, и тебя,
Освободить, Душа),
Будь моимъ Богомъ.
Всѣ помыслы великіе, стремленья
Народовъ, всѣ героическія дѣянья,
Свершенья восхищенныхъ, просвѣтленныхъ,
Будьте мои Богами.
Иль Время и Пространство,
Иль форма дивная божественной Земли,
Иль что-нибудь красивое, на что я
Гляжу, дивясь,
Или лучистый обликъ солнца,
Или звѣзда въ ночи,
Будьте мои Богами.

Подходя къ смерти, этотъ поэтъ видитъ въ ней
не то, что видитъ масса людей. Онъ слишкомъ
явно ощущаетъ свое и чужое безсмертіе.

ТОТЪ, КОГО Я ЛЮБЛЮ ДНЕМЪ И НОЧЬЮ.

Тотъ, кого я люблю днемъ и ночью, мнѣ снилось, сказали мнѣ—
умеръ,
И мнѣ снилось, пошелъ я туда, гдѣ они схоронили того, кто
мнѣ дорогъ,
Но въ томъ мѣстѣ онъ не былъ,
И мнѣ снилось, что я проходилъ и искалъ между мѣстъ по-
гребальныхъ,
Чтобъ найти его,
И увидѣлъ, что каждое мѣсто —
Погребальное было.
Дома, что исполнены жизни, исполнены были и смерти,
(Вотъ и этотъ теперь),
Улицы, и корабли, и мѣста развлеченья,

Чикаго, Бостонъ, Маннагатта,
 Филадельфія, были полны мертвецами, не только живыми,
 Мертвцовъ было больше повсюду, о, больше гораздо.
 И то, что мнѣ снилось, хочу говорить я отнынѣ всѣмъ людямъ
 и всѣмъ поколѣньямъ,
 И связанъ отнынѣ я съ тѣмъ, что мнѣ снилось,
 И нынѣ я знать не хочу всѣхъ мѣстъ погребальныхъ,
 И хочу я безъ нихъ обходиться,
 И, если бѣ въ честь мертвыхъ поставленъ былъ памятникъ гдѣ
 бы то ни было,
 Хотъ тамъ, гдѣ я ѣмъ и гдѣ сплю я,—я былъ бы доволенъ,
 И если тѣло того, кто мнѣ дорогъ, иль собственный трупъ мой,
 Въ прахъ, образомъ должнымъ, сведется, и прахомъ низверг-
 нется въ море,
 Я буду доволенъ,
 Или, если вѣтрамъ его бросать,
 Я буду доволенъ.

НОЧЬЮ ОДИНЪ НА ПРИБРЕЖЬИ.

Ночью одинъ на побережьи
 Межъ тѣмъ какъ старая мать,
 Распѣвая хриплую пѣсню,
 Баюкаетъ чадо свое,
 Я смотрю на блестящія ясныя звѣзды,
 И думаю думу,—гдѣ ключъ
 Вселенныхъ и будущего.
 Смыкають все обширныя подобья,
 Всѣ сферы, что выросли и не выросли,
 Міры большіе, малые, смыкають,
 Всѣ солнца, луны, и планеты,
 Всѣ разстоянья мѣстъ, хотя бѣ обширныхъ,
 Всѣ разстоянья времени, всѣ формы,
 Въ которыхъ духа нѣтъ,
 Всѣ души, всѣ живущія тѣла,
 Хотя бѣ они всегда различны были,

Въ мірахъ различныхъ,
Все то, что происходитъ въ газахъ, влагѣ,
Растеньяхъ, минералахъ, между рыбъ,
Среди звѣрей, смыкаеть всѣ народы,
Всѣ краски, варваризмы, языки,
Всѣ тождества, какія только были,
Иль могутъ возникать на этомъ шарѣ,
Всѣ жизни, смерти, все, что было въ прошломъ,
Что въ настоящемъ, въ будущемъ идетъ,
Обширныя подобія скрѣпляютъ,
Всегда скрѣпляли все, и будутъ вѣчно
Скрѣплять, смыкать, держать все плотно, цѣльно.

Люди говорятъ о смерти, Уольтъ Уитманъ го-
ворить о небесной смерти. Одно и то же явленіе
принимаетъ два разные лика: у людей смерть
имѣеть землистый, ужасный, отвратительный видъ,
въ воспріятіи поэта-философа у смерти божествен-
ный ликъ, овѣянный звѣзднымъ сіяньемъ.

Шопоты смерти небесной я слышу, шептанія, ропотъ,
Сказъ-пересказъ между усть, лепетаніе ночи, хоралы въ сви-
стѣніи шороха,

Шелесты нѣжно-всходящихъ шаговъ,
Тихое вѣянье, вздохъ навѣяній мистическихъ, струн невиди-
мыхъ рѣкъ,

Теченья потока, который течеть, бесконечно течеть,
(Или всплески то слезъ, безпредѣльныя волны человѣческихъ
слезъ?)

Я вижу, какъ разъ вижу въ небѣ, скопленье огромное тучъ,
Пасмурно тучи плывуть, медленно, и молчаливо,
Молча онѣ нарастаютъ, мѣшаясь другъ съ другомъ,
Время отъ времени, наполовину туманомъ закрыта,
И опечалена, дальняя свѣтитъ звѣзда,
То появляясь, то затмѣваясь,

«Это скорѣе роды какіе-нибудь,
Торжественно это безсмертное чье-то рожденье:
На граняхъ, для глазъ непроницаемыхъ,
Проходитъ какая-то въ міръ душа».

Итакъ, вотъ основныя черты поэзіи Уольта Уитмана. Онъ поэтъ личности, безконечности жизни, и гармонической связи всѣхъ личныхъ отдѣльностей съ Міровымъ Цѣлымъ. Личность—это зерно жизни. Это — фундаментъ. Но этотъ фундаментъ, слагаясь съ однородными сущностями въ одну цѣльность, образуетъ зданіе, легкимъ шпилемъ убѣгающее въ безконечное небо, гдѣ дышуть безсмертныя звѣзды. Уитманъ видитъ душу за всѣми явленіями; за свѣтлыми и темными тканями жизни онъ видитъ Единое Цѣлое. Религія Уитмана—космическій энтузіазмъ, тотъ неистощимый міровой восторгъ, которому не скучно, и не трудно, и не утомительно создавать все новыя и новыя сцѣпленія планетъ, и каждый мигъ благословлять рождающую тьму, исполненную тайнъ, и въ каждомъ новомъ цвѣткѣ ежеминутно торжествовать первое утро Мірозданія.

Если мы бросимъ общій взглядъ на поэтическіе лики двухъ сладкогласныхъ геніевъ мечты, Шелли и Эдгара По, мы увидимъ что въ жизнерадостномъ творествѣ Шелли есть то же магнетическое „что-то“, что плѣняетъ насъ въ мрачномъ поэтѣ Ворона, Морэллы, и Лигейи. Они оба представляются намъ не людьми, а демонами, въ глазахъ которыхъ горитъ нездѣшній странный свѣтъ.

Въ глазахъ Эдгара По этотъ свѣтъ—фосфорическій, подобный сіяньямъ, пляшущимъ надъ болотами, и надъ тревожными волнами ночного Океана. Въ глазахъ Шелли этотъ свѣтъ—сіянье ослѣпительнаго полдня, пьянаго отъ цвѣточныхъ испареній, когда Солнце на высшей своей точкѣ—или, чаще, нѣжный влажный блѣдный свѣтъ Луны, подъ которой далекимъ очеркомъ встають окованная вѣчными снѣгами горныя вершины, и безбрежной круговой равниной лежитъ спокойный Океанъ, говорящій своимъ безмолвіемъ о стройной Вѣчности.

Ликъ Уольта Уитмана—ликъ не духа, не демона, а свѣтлое лицо могучаго жителя Земли, по-земному влюбленнаго въ Землю, это ликъ исполина, который, какъ въ мячъ, можетъ играть обломками утесовъ, и можетъ нагромоздить эти мощные камни одинъ на другой, такъ что сложатся башни, и выростутъ города, и улицы этихъ могучихъ городовъ будутъ лабиринтами, и съ высоты безмѣрныхъ этажей изъ безчисленныхъ оконъ будутъ глядѣть въ содружественномъ множествѣ лица свободныхъ и мыслящихъ людей, примирившихся съ Землей, и въ глазахъ этихъ новыхъ свободныхъ людей, связанныхъ узами единой духовной жизни, будетъ горѣть тотъ же свѣтъ, что свѣтится въ глубокихъ глазахъ вотъ этого упорнаго и радостно-свѣжаго гиганта, напоминающаго сказочное древо Игдразиль, чьи вѣтви охватываютъ міръ, и чьи корни въ подземномъ царствѣ, и чья зеленая вершина въ безконечномъ Небѣ.

Поэзія Борьбы
(Идеализованная Демократія)

Человѣка пою Нашихъ Дней.

Уитманъ

Мы живемъ въ смутное разорванное время— разорванное какъ туча, которая протянулась отъ конца до конца Неба, и выбрасываетъ изъ себя молніи. Гроза—преобразительница. Всѣ предметы измѣнены тогда въ своихъ очертаньяхъ и краскахъ. То, что казалось малымъ, странно выступаетъ и беспокоитъ глазъ. То, что казалось и было огромнымъ, скрылось затянутае темнымъ саваномъ, а, быть можетъ, и вовсе сожженное пламенемъ. Краски—другія. Въмѣсто спокойной и тихой лазури, сѣрая, темная, мѣдная, рдяная, алая, красная сказки цвѣтовъ. Лица темнѣе— и мгновенно ярче. Лица другія въ грозу. Звуки доходятъ до своей полярности. Громкіе голоса превращаются въ шопоты, призрачные шопоты меркнуть, тонуть въ Молчаніи. А изъ Безмолвія, въ которомъ не было намека на звукъ, обрушиваются бѣшеные громы. И слѣва, вонъ тамъ, на обширной равнинѣ, ужъ засвѣтились живыя поляны, подъ Солнцемъ, подъ

разорвавшимися ожерельями дождя. А справа, гдѣ мрачной громадой чернѣлъ, враждебный быстрому стремленью, старый боръ, зажглись исполинскіе факелы, смертный праздникъ упорныхъ стволовъ, до которыхъ коснулся поцѣлуй молніи.

Изъ Жизни—Смерть, изъ Смерти—Жизнь. И вращается міровое колесо, мѣняя понятие о верхѣ и низѣ, и раздробляя отжившее старое во имя впередъ устремленнаго новаго, чтобъ снова свѣжей сдѣлалась Земля, и чтобъ могильное „Стукъ-стукъ“ костлявой руки Привидѣнья превратилось въ веселый зовъ Молодости, громко стукнувшей о дверь — и вотъ отворяющей дверь, на волю, на Солнце, на воздухъ.

Одинъ поэтъ воскликнулъ: „Six years, six little years, six drops of Time“ („Шесть лѣтъ, шесть малыхъ лѣтъ, шесть капель Времени“). И правда, шесть лѣтъ — такая малость. Но менѣе, чѣмъ въ этотъ малый срокъ, о, лишь въ мѣсяцы, въ недѣли, предъ нами развивается циклическая драма переменъ. Мѣняются государства, виѣшне и внутренне, до полной неузнаваемости; неразбиваемый металлъ понятій, казавшихся несокрушимыми, бросается въ плавильникъ, и превращается въ текучую влагу; война двухъ народовъ превращается въ войну двухъ расъ; мы превышаемъ размахъ Эсхилловскихъ драмъ, заглушаемъ топоты Гунновъ; въ нѣсколько минутъ гибнутъ надежды миллионновъ, и корабли за кораблями идутъ уснуть на дно морей; хищныя птицы, — народы-зрители, народы-сопер-

ники,—глядяъ со стороны—и точать когти, и готовятъ клювы, для новыхъ битвъ и столкновений; а внутри государствъ инья встрѣчныя теченья то-ропливыхъ весеннихъ ручьевъ; звоны льдинъ, за-грязненныхъ и грязью и кровью, передъ тѣмъ какъ имъ вовсе растаять; замолкають крикливыя наглые, говорятъ безсловесныя; орды сумасшедшихъ играютъ въ страшный маскарадъ, и думаютъ застрѣлить, разстрѣлять мышленье, и хотять благородство—повѣсить на висѣлицѣ. А Земля, какъ Земля, въ этотъ мигъ замышляетъ свое, любить зрѣлища, и, взметнувъ изъ Везувія пепель и лаву, напугавъ дѣтской красочной вспышкой мелкорослыхъ и слишкомъ пугливыхъ людей, разразилась въ космическомъ хохотѣ, чуть качнулась, перебросила шутку, и эхо отозвалось въ Калифорніи. Великій океанъ зародовался, возликовали и геніи Огня, увидѣвъ, что строители двадцатыхъ этажей, желая бороться съ пламенемъ, стали играть въ динамитъ.

Но ни человекъ не испугаетъ Человека, ни Земля не испугаетъ Человека. Онъ будетъ жить, онъ будетъ строить—и, чтобъ строить, онъ будетъ разрушать.

Недалеко, не такъ далеко отъ этой цвѣтущей златоносной Калифорніи, гдѣ быстры, какъ феи, нарядныя колибри, еще въ прошломъ столѣтіи, десятки лѣтъ тому назадъ, возникли слова, вѣщія и обнимающія понятіемъ современности то, чужое, минувшее, съ нашимъ, теперешнимъ, переживаемымъ, слова, написанныя какъ будто бы для насъ.

**Кто-то могучій, видящій и провидящій, самозабвенно
восклицалъ.**

ГОДЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Годы современности! годы несвершеннаго!
Вашъ горизонтъ растетъ, я вижу, что онъ разступается
Для болѣ сильныхъ, торжественныхъ драмъ,
Я вижу не только Америку, не только народъ Свободы, я вижу,
другіе народы готовятся,
Я вижу ужасные входы, уходы со сцены, сочетанія новыя, соли-
дарность расъ,
Я вижу грядущую эту силу, неудержимо вступающую на миро-
вую сцену,
(Старыя силы, старыя войны, сыграли-ль они свои роли?
Дѣйствія, имъ надлежащія, кончены-ли?),
Я вижу Свободу, во всеоружіи, побѣдную, гордо - надменную,
Съ Закономъ съ одной стороны и съ Миромъ съ другой,
Измумительна эта тріада, всѣ они вышли на бой противъ мысли
о кастѣ;
Къ какимъ историческимъ развязкамъ мы близимся съ такой
быстротой?
Я вижу людей въ ихъ маршахъ и въ ихъ контръ-маршахъ,
спѣшать и спѣшать миллионы,
Я вижу, что всѣ рубежи и границы аристократій старинныхъ
разрушены,
Я вижу — межи Европейскихъ владыкъ всѣ стерты,
Я вижу, что въ этотъ день Народъ начинаетъ свои рубежи
означать (всѣ другіе долой),
Донинѣ еще никогда столь острыхъ вопросовъ не ставили,
Никогда еще не былъ простѣй челоувѣкъ, и духъ его, болѣ
силенъ, и болѣ богоподобенъ,
Чу, какъ онъ нудить, торопить, не оставляя массы въ покоѣ!
Шагъ дерзновенный его на землѣ и на морѣ повсюду,
Великаго онъ океана коснулся и въ немъ создаетъ поселенья,

Колоннзуютъ архипелаги,
 Своимъ паровымъ кораблемъ, телеграфомъ своимъ электриче-
 скимъ,
 Газетой, и массой военныхъ орудій,
 Конторами, нити свои разбросавшими въ міръ,
 Межъ всѣхъ географій онъ звенья куеть, и связуетъ всѣ страны;
 Что за шопоты это, о, страны, бѣгутъ передъ вами, проходятъ
 подъ глѣбью морей?
 Всѣ народы бесѣду ведутъ? создается-ли это у шара земного
 единое сердце?
 Человѣчество хочеть ли слиться въ сплошное одно?
 Ибо, видишь, тираны трепещутъ, короны тускнѣютъ,
 Упорствуя въ духѣ своемъ, Земля — лицомъ къ лицу съ новой
 эрой,
 Предъ всеобщей, быть можетъ, войною божественной,
 Не знаетъ никто, что случится вотъ-вотъ, дни и ночи такими
 наполнены знаменьями;
 Вѣщіе годы! пространство, пока я иду и тщетно стараюсь его
 пронщать,
 Наполнено призраками,
 Тѣ вещи, что скоро свершатся, дѣянья еще не свершенныя
 Бросаютъ вокругъ меня тѣни свои.
 Этотъ натискъ, стремленье и пылъ, въ которые трудно повѣрить,
 Лихорадочность снова изступленныхъ, ихъ странность, о, годы,
 Сновидѣнія ваши, о, годы, какъ они проникаютъ въ меня,
 (Наяву ли я или во снѣ, я не знаю)!
 Америка, вмѣстѣ съ Европой, завершенныя, смутно темнѣютъ,
 Уходятъ за мной они въ тѣнь,
 Несвершенное, столь исполненное, какъ никогда не бывало,
 Идетъ и идетъ на меня!

Другія строки, сказанныя тѣмъ же вѣщимъ, въ
 далекіе дни Франко-Прусской войны, и Коммуны,
 кажутся положительно написанными для насъ, Рус-
 скихъ, переживающихъ 1905—1906 годы.

Е В Р О П ъ,

72-й и 73-й Годы Соединенныхъ Штатовъ

Внезапно изъ ветхой и сонной берлоги, изъ душевной берлоги рабовъ,
Какъ будто бы вспыхнула яркая молнія, сама на себя удивляясь,
Ногой придавивши лохмотья и пепель, и стиснувши руки на горлѣ владыкъ.

О, надежда и вѣра!
О, боль завершенія жизни всѣхъ тѣхъ,
Кто былъ изгнанъ за то, что любилъ свою родину!
О, сколько, порвавшихся въ пытки, сердецъ!
Вернитесь назадъ въ этотъ день и забейтесь для жизни свободной!

А вы, которымъ платять за услугу
Грязнить Народъ, замѣтте вы, лжецы.
Хотя несчетны были истязанья,
Убійства, и безчестность воровства
Въ извилистыхъ и самыхъ низкихъ формахъ,
Хотя изъ тѣхъ, кто бѣдень, выжимали
Достатокъ весь, грызя его какъ черви,
Хоть обѣщанья съ королевскихъ устъ
Нарушены, и тотъ, кто обѣщался,
Отмѣтилъ подлымъ смѣхомъ свой обѣтъ,
И хоть во власти тѣхъ, кто былъ обиженъ,
Владыки были, все-жь свои удары
На нихъ еще не устремила месть,
И головы не срѣзаны у знати:
Народъ презрѣлъ свирѣпости владыкъ.

Но мягкость милосердія была
Какъ дрожжи для погибели горчайшей,
И струсившіе деспоты вернулись,

Съ своей приходитъ каждый съ полной свитой,
При немъ — палачь, святоша, вымогатель,
Солдаты, законникъ, баринъ, и тюремщикъ,
И сикофантъ.

А сзади всѣхъ, ползеть, глядите, призракъ
Какъ бы туманъ, въ покровѣ безконечномъ,
Лобъ, голова, и весь — въ багряныхъ складкахъ,
Лица и глазъ никто не видитъ,
Изъ всѣхъ одеждъ, изъ красныхъ одѣяній
Приподнятыхъ рукой, лишь палець видно,
Изогнутый, кривой, во всемъ подобный
Змѣиной головѣ.

Межъ тѣмъ тѣла лежать въ могилахъ свѣжихъ,
Кровавыя тѣла погибшихъ юныхъ,
Веревка тяжело съ висѣлицы пала,
Летаютъ пули, принцы ихъ послали,
Приспѣшники властей хохочутъ,
И это все должно явить свой плодъ.

Тѣла погибшихъ юношей, тѣла
Замученныхъ, повѣшенныхъ, сердца
Пронзенныя свинцомъ жестоко-сѣрымъ,
Теперь какъ будто холодны, недвижны,
Но невозможно ихъ убить.

Они вознесены святою смертию,
Они живутъ въ другихъ, такихъ же юныхъ,
Внемлите, короли,
Они живутъ въ другихъ, опять готовыхъ
На вызовъ вамъ.

Надъ каждымъ, кто убить былъ за свободу,
Надъ каждою подобною могилой
Ростеть трава, которой имя — вольность,
И въ свой чередъ посѣтъ сѣмена,

И вѣтры разнесутъ ихъ для посявовъ,
Дожди, снѣга—кормильцы имъ.

Да, каждый духъ, котораго отъ тѣла
Освободить оружіе тирана,
Здѣсь будетъ, отъ земли онъ не уйдетъ,
Онъ будетъ проходить по ней незримо,
Шептать, предупреждать, и торопить.

Свобода, пусть отчаются другіе,
Я никогда въ тебѣ не усомнюсь.

Домъ запертъ? и хозяина нѣтъ дома?
Пусть, все равно, готовы будьте, ждите,
Онъ будетъ скоро, вѣстники его
Приходятъ вдругъ.

Кто онъ, этотъ провидецъ, такъ говорящій? Не
одинъ ли изъ тѣхъ, которые вскормлены бурей, и
умѣютъ говорить только гнѣвные мятежныя слова,
полныя однозвучнаго краснорѣчія военныхъ трубъ
и барабана?

Нѣтъ, онъ всеобъемлющій.

Ему доступны были всѣ тона. Слышалъ онъ
ревъ Океана, слышалъ и журчанье ручейка. И,
знавшій раскаты военныхъ орудій, онъ нѣсколькими
словами умѣлъ вводить душу въ тишину, нѣжную,
какъ легкой шелестъ кустовъ цвѣтущей сирени,
надъ которой начали виться, въ хороводѣ, ночныя
бабочки. Сумерки онъ понималъ.

СУМЕРКИ

Истомность усыпительныхъ тѣней,
Чуть скрылось солнце, сильный свѣтъ разсѣянь,

(И я разсъюсь скоро, отойду),
Туманъ — нирвана — ночь — покой — забвенья.

Свѣтлый, какъ дневной свѣтъ, любившій все четкое, что закончено въ своихъ очертаніяхъ, какъ закончены подъ Солнцемъ всѣ краски и черты, этотъ поэтъ дѣйствія, бардъ пересозданія, преображался порою какъ бы въ лунатика, который твердо идетъ по обрывнымъ путямъ съ закрытыми глазами. Онъ видитъ сквозь вѣки, онъ входитъ въ пещеры ночныхъ сновидѣній и сливается съ душами спящихъ, читаетъ въ нихъ, тайно вникаетъ въ закрытыя таинства душъ.

Я блуждаю всю ночь въ сновидѣннѣ,
Я шагаю легко, я шагаю безшумно и быстро,
Останавливаюсь, наклоняюсь съ глазами раскрытыми,
Надъ глазами закрытыми спящихъ,
Я блуждаю, смущаюсь, теряюсь, себя забываю,
Не согласуюсь, противорѣчу,
Медлю, гляжу, наклоняюсь, на мѣстѣ стою.

Какъ торжественно, тихо лежать они,
Какъ дышутъ спокойно они, дѣти въ своихъ колыбеляхъ.

Несчастныя вижу черты людей пресыщенныхъ,
Облики бѣлые труповъ, багровыя лица пьяницъ,
Болѣзненно-сѣрыя лица тѣхъ, что сами ласкаютъ себя,
Тѣла на поляхъ сраженья, съ кровью глубокихъ ранъ,
Сумасшедшіе въ комнатахъ наглухо запертыхъ,
Дурачки невинно-блаженные,
Новорожденные, эти изъ вратъ исходящіе,
И умирающіе, эти изъ вратъ исходящіе,
Ночь проникаетъ ихъ, ночь ихъ объемлетъ.

Брачная спитъ чета спокойно въ своей постели,
Онъ положилъ ладонь на бедро супруги, она
Положила свою ладонь на бедро супруга,
Сестры нѣжно спятъ бокъ-о-бокъ въ своей постели,
Мужчины нѣжно спятъ бокъ-о-бокъ въ постеляхъ своихъ,
И спитъ съ ребенкомъ своимъ мать, закутавъ его.

Слѣпые крѣпко спятъ, глухія спятъ и нѣмые,
Спитъ узникъ спокойно въ тюрьмѣ, и спитъ блудный сынъ,
Убийца, что будетъ повѣшенъ завтра, какъ спитъ, какъ спитъ онъ,
И тотъ, кто убить, какъ онъ спитъ?

Спитъ женщина, любящая безъ взаимности,
Спитъ мужчина, любящій безъ взаимности,
И спитъ голова того, кто весь день строилъ планы, и деньги,
деньги сколачивалъ,
И тотъ, кто характеромъ бѣшенъ, и тотъ, кто предатель, спятъ,
всѣ спятъ.

Я стою въ темнотѣ, опустивши глаза, близъ тѣхъ, кто страдаетъ
всего и всего безпокойнѣй,
Я на нѣсколько дюймовъ отъ нихъ рукою своей провожу, успо-
Я взоромъ пронзаю тьму, существа инныя являются, [каивая,
Земля отъ меня отступаетъ въ ночь,
Я вижу, что это было красиво, и я вижу, что то, что не земля,
красиво.

Я иду отъ постели къ постели, я сплю съ другими спящими,
Съ каждымъ рядомъ по очереди,
Мнѣ снятся во снѣ моемъ сны, всѣ сны другихъ уснувшихъ,
И я становлюсь другими уснувшими, спящими.

Я пляска!—играйте вы тамъ! Я кружусь все скорѣй и скорѣй!
Я вѣчно-смѣющийся—вотъ, новая свѣтитъ луна, и сумерки,
Я вижу веселыя игры, въ прятки, куда ни взгляну я, повсюду
проворные духи,

Вновь прятки и прятки опять глубоко въ землѣ и въ морѣ,
И тамъ, гдѣ не море, и гдѣ не земля.

Кто же онъ, этотъ поэтъ? Онъ — отвѣчатель.
Еще минутку маленькой тайны. Есть вопрошающіе,
есть просто говорящіе, не идущіе дальше разгово-
ра, и есть — ихъ немного — Отвѣчатели. Онъ
единый изъ этихъ послѣднихъ.

Теперь внимайте утренней пѣснѣ моей, я возглашаю вамъ зна-
менія Отвѣчателя,

Городамъ и фермамъ пою я, въ то время какъ въ утреннемъ
свѣтѣ они предо мной простираются.

Отвѣчателя ждутъ, всѣ ему отдаются, его слово рѣшающее, и
окончательное,

Его принимаютъ всѣ, въ немъ существуютъ, купаясь какъ въ
свѣтѣ, въ немъ себя замѣчаютъ.

Человѣкъ есть властительный зовъ и вызовъ,

Прятаться тщетно.

У него ключъ сердець, и ему отвѣчаетъ ручка дверная.

Желанность его всемірна, потокъ красоты не больше желаненъ
не больше всеміренъ, чѣмъ онъ.

Каждое существованье имѣетъ свое нарѣчіе, каждая вещь имѣетъ
свое нарѣчье и рѣчь,

Онъ разрѣшаетъ всѣ языки въ свой собственный и даетъ его
людямъ.

Онъ идетъ въ Капитолій совершенно спокойно,

Онъ бродитъ въ Собраніи, гдѣ застѣдаютъ исполнители Воли
Народной.

Потомъ мастеровые считаютъ его мастеровымъ,

И солдаты предполагаютъ, что онъ солдатъ, и матросы, что море
ему извѣстно,

И писатели принимаютъ его за писателя, и художники за ху-
дожника,

И земледѣльцы видятъ, что могъ бы онъ съ ними землю пахать
и любить ихъ,

Все равно какое бы ни было дѣло, онъ эту работу можетъ
исполнить или уже исполнилъ,

Все равно какой бы ни былъ народъ, онъ могъ бы найти въ немъ
братьевъ своихъ и сестеръ,

Англичане считаютъ его изъ Англійскаго рода и племени,
Еврею Евреемъ онъ кажется, Русскому Русскимъ, онъ привыч-
ный и близкій, ни отъ кого не далекъ,

На кого онъ ни взглянетъ въ кофейнѣ для странствующихъ,
тотъ его тотчасъ признаетъ своимъ,

Итальянецъ или Французъ въ немъ увѣрены, Нѣмецъ увѣренъ,
Испанецъ увѣренъ, островитянинъ Кубанецъ увѣренъ,

Инженеръ, или палубный съ великихъ озеръ, или съ Миссис-
сиппи, или съ Гудсонова залива, или съ Помѣнока при-
знаютъ его своимъ.

Джентльмэнъ чистой крови признаетъ его чистокровностью,

Хулиганъ, проститутка, разгнѣванный, ищій себя узнаютъ въ
путихъ его, онъ странно ихъ преобразуетъ,

Вотъ уже больше не низки они, они едва узнаютъ себя, такъ
они выросли.

Время, всегда безъ перерыва, указываетъ себя въ частяхъ,

Что всегда указываетъ Поэта, это толпа пріятныхъ и дружныхъ
пѣвцовъ, и слова ихъ,

Слова пѣвцовъ суть часы и минуты свѣта и тьмы, но слова
создателя поэмъ суть общій свѣтъ и всеобщая тьма,

Его глубокій взглядъ внутрь обнимаетъ всѣ вещи и весь чело-
вѣческій родъ.

Пѣвцы не рождаютъ, рождаетъ только Поэтъ,

Пѣвцы желанны, и ихъ понимаютъ, довольно часто они являются,
но рѣдко былъ день, было рѣдко и мѣсто рожденья соз-
дателя поэмъ, Отвѣчателя,

(Не каждый пѣкъ, и не каждая пятъ столѣтій содержали подоб-
ный день, при множествѣ всѣхъ ихъ именъ).

Пѣвцы равномерно идущихъ часовъ различныхъ столѣтій, быть мо-
жетъ, имѣли явное имя, но каждое имя такое есть имя пѣвцовъ,

Имя каждаго есть пѣвецъ глазъ и красокъ, пѣвецъ слуха, зву-
ковъ, пѣвецъ размышленья, пѣвецъ сладкогласный, пѣвецъ
тьмы и ночи, пѣвецъ для гостиной, пѣвецъ-чаровникъ
любовный пѣвецъ, или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Всѣ въ это время, и во всѣ времена, ждутъ словъ истинныхъ
поэмъ,

Слова истинныхъ поэмъ не просто лишь нравятся,
Поэты воистину суть не свита Красоты, но священные кладьки
Красоты.

Божественный инстинктъ, широта и объемность взгляда, законъ
разума, здоронье, дерзость тѣла, отъединенность,
Веселость, солнечный загаръ, свѣжій воздухъ, таковы суть не-
многія изъ словъ поэмъ.

Морякъ и путникъ, онъ ихъ держитъ въ основѣ своей, создатель
поэмъ, Отвѣчатель,

Зодчій, геометръ, химикъ, анатомъ, френологъ, художникъ, онъ
всѣхъ ихъ имѣетъ въ основѣ своей, создатель поэмъ, Отвѣ-
чатель.

Слова истинныхъ поэмъ даютъ намъ больше, чѣмъ поэмы,
Они даютъ вамъ изъ чего намъ создать для себя поэмы, религіи,
политику, войну, миръ, поведеніе, исторію, опыты, повсе-
дневную жизнь, и всякую вещь иную,

Они Красоты не ищутъ, ихъ ищутъ,
Касаюсь ихъ, или за ними не медля, во вѣки вѣковъ, идутъ Кра-
сота, стремленье, жажда истомная, любовная боль,

Къ смерти они приготавливаютъ, однако жъ они не конецъ, а
скорѣе начало,

Они никого не приводятъ къ предѣлу его, и не дѣлаютъ пол-
нымъ, довольнымъ,

Кого захватитъ, того уносятъ въ пространство, чтобъ смотрѣть
на рожденіе звѣздъ и познать одно изъ значеній,

Чтобы съ полною вѣрою въ путь устремиться, умчаться впе-
редь по звеньямъ несчетнымъ, и больше покоя не знать
никогда.

Отвѣчатель, слова котораго властно проникаютъ
въ нашу душу, и поэзія котораго, всеобъемлющая
и водопадно-могучая, есть сторожевой маякъ на
преломленьи двухъ цивилизацій, феодально-аристо-

кратической, еще владѣющей, въ измѣненномъ видѣ, обширными пространствами Земли, и демократически-всечеловѣческой, имѣющей возникнуть какъ историческое „Завтра“ на обломкахъ современныхъ неправосудностей, этотъ апостолъ новаго человѣчества, долженствующаго обнять своей мыслью всю Землю, есть Американскій поэтъ Уольтъ Уитманъ, слишкомъ мало извѣстный въ Европѣ, слишкомъ мало цѣнимый и въ Америкѣ, ибо онъ разрушаетъ своимъ творчествомъ всѣ условности, личныя и общественныя, а современная Америка, также какъ современная Европа, вся еще — въ переломѣ, въ изломѣ стараго и рождающагося новаго.

Говоря объ Уольтѣ Уитманѣ, трудно сообщать такъ называемыя фактическія данныя: его жизнь— сказка дѣйствительности, фантазія въ простомъ, долгій и проникновенный взглядъ внутрь, мѣняющій своей напряженностью, своей напряженной блестящестью, все, до чего онъ коснется. Въ этой непрерывной, всю жизнь продолжавшейся поэмѣ превращенія простаго въ сложное, будничнаго въ чудесное, привычнаго и малаго въ космическое и стихійное, заключается основная черта личности Уольта Уитмана. Онъ считалъ общепринятая біографіи великихъ людей полнымъ непониманіемъ натуры великаго человѣка, идущаго всегда особыми, тайными, для него самого едва осязаемыми путями. Послѣдуемъ его примѣру, и возьмемъ изъ его такъ называемой біографіи лишь необходимыя даты, и лишь тѣ черты отдѣльности, въ которыхъ

чувствуется великая отъединенная душа Отвѣчателя.

Уольтъ Уитманъ родился въ 1819-мъ году, въ Штатѣ Нью-Йоркъ, въ Лонгъ-Айлендѣ; умеръ въ 1892-мъ году; написалъ одну книгу стиховъ „Leaves of Grass“ („Побѣги Травы“) и томъ политическихъ статей. Какъ будто немного для такой длинной жизни. Но десятки томовъ знаменитыхъ поэтовъ, сыгравшихъ свою историческую роль, создали эфемерные цвѣтушіе сады, красиво возникшіе, и красиво переставшіе быть живыми, а томъ, чуждыхъ рѣзны и обычной напѣвности, стиховъ Уитмана таить въ себѣ возможности для новыхъ и новыхъ поствовъ, молодыя заросли могучихъ лѣсовъ грядущаго *).

Прекрасны и краснорѣчивы отдѣльныя черты изъ того, что составляло земной ликъ Уитмана. Онъ былъ совсѣмъ сѣдой въ тридцать лѣтъ. У него былъ взглядъ глубокаго возраста въ его юности, и взглядъ юности въ преклонномъ возрастѣ. Какъ орелъ измѣняетъ полетомъ понятіе высоты, стирая различіе между равниной и горами, такъ духовный полетъ этого генія слилъ воедино разнствующіе человѣческіе возрасты, вознесся надъ всѣми. Онъ

*) Лучшее изданіе стиховъ Уольта Уитмана: *Leaves of Grass, by Walt Whitman. Complete edition. Boston. Small, Maynard and Co.* - Остерегаю отъ лицемѣрныхъ Англійскихъ изданій, съ пропусками. Лучшій этюдъ объ Уитманѣ, которому я многимъ обязанъ: *John Addington Symonds, Walt Whitman. London, 1893.*

обращалъ на себя вниманіе проходящихъ своей высокой статной фигурой: шесть футовъ въ вышину и тѣло гладіатора. Когда онъ проходилъ по улицѣ какого-нибудь люднаго города, или прогуливался по палубѣ какого-нибудь парохода, онъ невольно приковывалъ къ себѣ вниманіе, и всѣ кругомъ спрашивали: „Это морской капитанъ въ отставкѣ?“ „Это актеръ? Это военный офицеръ? Это священникъ?“ „Быть можетъ онъ былъ владѣльцемъ контрабандистскаго корабля? Или торговцемъ невольниками?“

Оживленный румянцемъ, голубоглазый, съ лицомъ внимательнымъ и проникновеннымъ, истый сынъ Неба и Земли. Радостный видъ звѣринаго, красиво-звѣринаго здоровья, болѣе указывающій на охоту или греблю, нежели на сидѣнье за конторкой и письменнымъ столомъ, этими каторжными станками, съ которыми онъ былъ очень знакомъ, но которые не сумѣли его побѣдить. Воля жизни и гармонія въ томъ, что можно назвать обрядностью каждаго дня. Въ пищѣ и личной чистотѣ и опрятности онъ разборчивъ и царственно-просто, какъ высокорожденный браминъ. Это какъ будто одинъ изъ тѣхъ, которые первыми видѣли восходъ Солнца и рожденіе Вечерней Звѣзды. Одинъ изъ начинателей. Его видъ—какъ бы видъ, какъ бы взглядъ земли, моря, и горъ. Черты его лица—античный образецъ, нынѣ вышедшій изъ моды, и почти не встрѣчающійся въ современныхъ лицахъ. Оживленная статуя. Мыслящее тѣло, человѣкъ изъ

отшедшаго или еще не созданнаго народа, достойнаго быть живымъ основаньемъ скульптуры. Не только умъ, какъ въ знакомыхъ намъ лицахъ, но жизнь. Не книжное теоретизированіе жизни, а переживаніе ея. Вся его фигура окружена ореоломъ мужественности. Она дышетъ, въ своемъ совершенномъ здоровьи и мощи, торжественнымъ очарованіемъ сильнаго. Такимъ являлся Уитманъ предъ глазами его видѣвшими.

Въ этомъ во всемъ онъ слить гармонично съ своимъ поэтическимъ творчествомъ, съ своей книгой, прекрасно названной „Побѣгами Травы“. Первое изданіе ея, въ видѣ тонкаго томика, содержащаго двѣнадцать поэмъ и прозаическое предисловіе, появилось въ Бруклинѣ, въ 1855-мъ году. Этотъ томикъ былъ зерномъ книги, постепенно потомъ разросавшейся, и въ посмертномъ изданіи являющей изъ себя убористый томъ въ 400 страницъ. „Побѣги Травы“ были встрѣчены криками проклятій и взрывами хохота. „Когда книга возбудила такую бурю гнѣва и всеобщаго осужденія“, говорилъ своему другу Уитманъ, „я отправился къ восточному краю Лонгъ-Айленда, и провелъ тамъ надъ моремъ позднее лѣто и весь конецъ его, счастливѣйшіе въ моей жизни. Потомъ вернулся въ Нью-Йоркъ, съ твердымъ рѣшеніемъ, отъ котораго никогда впослѣдствіи не отступалъ, идти впередъ съ моимъ поэтическимъ предпріятіемъ собственной своей дорогой, и завершить ее такъ хорошо, какъ смогу“. Вся дальнѣйшая жизнь

Уитмана связана съ выполнениемъ задуманнаго и рѣшеннаго. Между 1855-мъ и 1892-мъ годами изданія слѣдовали одно за другимъ, и изъ первичныхъ 12-ти поэмъ естественно выросли всѣ остальные.

Когда Уитманъ выступилъ съ своей книгой, Эмерсонъ написалъ ему привѣтственное письмо, гдѣ говоритъ о началѣ великой дороги, которая, однако, уже должна была имѣть гдѣ-то долгую предварительную предпочву, для такого прыжка. „Солнечный лучъ“, говорилъ онъ, и послалъ экземпляръ „Побѣговъ Травы“ Карлэйлю. Торо сказалъ объ Уитманѣ: „Онъ — Демократія“. Линкольнъ, увидѣвъ его изъ оконъ Бѣлаго Дома, сказалъ слова, тождественныя со словами Наполеона, увидѣвшаго Гёте: „Да, это — Человѣкъ“. Публика однако думала иначе, и, устрешенные сея яростью, книгопродавцы отказались продавать изданіе 1856-го года. А Уитманъ пѣлъ и пѣлъ торжествующія пѣсни.

Въ 1862-мъ году Уитманъ поступилъ въ братья Милосердія, чтобы ухаживать—сперва за своимъ раненымъ братомъ, волонтеромъ Джоржемъ Уитманомъ, потомъ за Бруклинскими солдатами. Онъ работалъ въ госпиталяхъ, посѣщалъ поля сраженія. Это отразилось въ его поэзии. Не только въ ней. Постоянное ухаживанье за солдатами, въ обстановкѣ ужасныхъ ранъ, гангрены и тифа, въ переполненныхъ душныхъ госпиталяхъ, подорвало его крѣпкую натуру. Въ 1864-мъ году онъ серьезно захворалъ. Поправился. Вернулся къ работѣ въ Вашингтонѣ. Но недугъ уже въ скрытности былъ. Въ

1873-мъ году его поразилъ параличъ. Три года — между жизнью и смертью, и затѣмъ — инвалидъ. Но онъ веселъ, онъ бодръ, онъ не жалуется. Онъ исполненъ непоколебимой вѣры въ жизнь. Бѣдность, лишенья не побѣждаютъ его, хотя усиливаютъ тѣлесныя страданья. Тѣлесныя-ли только? Мы не знаемъ. И со сломанными крыльями онъ всетаки былъ мощной, гордой птицей, завершившей земную жизнь эпически-ясно, стихійно-величественно.

Если вліяніе поэзіи Уолта Уитмана еще донинѣ не стало широкимъ, это указываетъ не на малыя достоинства его книги, а на малыя достоинства современныхъ душъ, любящихъ общедоступную красоту, душъ плоскихъ, душъ пошлыхъ. Не лучъ малъ, а трясины велика. Но и оттуда, изъ этой трясины, лучъ исторгаетъ бѣлые цвѣты, и цвѣты золотые, и цвѣты красноцвѣтные. И если большой толпѣ чуждо имя великаго барда Америки, на отдѣльныя души онъ производитъ впечатлѣніе неизгладимое и единственное по своей силѣ. „Когда въ возрастѣ 25-и лѣтъ“, говоритъ извѣстный Англійскій историкъ Искусства Симондсъ, „я впервые прочиталъ „Побѣги Травы“, эта книга повліяла на меня, быть можетъ, болѣе, чѣмъ какая-либо другая, исключая Библии; болѣе чѣмъ Платонъ, болѣе, чѣмъ Гёте“. Эти слова мыслящаго, написавшаго блестящую книгу о творествѣ Микель-Анджело и прожившаго свою жизнь съ Англійскими поэтами Шекспировской эпохи и Итальянскими мастерами

златоцвѣтной живописности, говорятъ болѣе, чѣмъ тупое незнаніе несвѣдущихъ.

Какъ хорошо суммировалъ Симондсъ, итогъ Уитмана, въ его цѣломъ, четверичень: Америка; Самость; Поль; Народъ. Это пѣвецъ вольной Америки, безбрежной могучей страны прерій и людныхъ городовъ, омывасмой двумя океанами, страны развитія и будущаго; это пѣвецъ Личности, не связанной никакими путами, личности, которая не удержимо ищетъ себя, и, когда сама себя находитъ, свѣтится свѣтомъ божественно-яркимъ; это пѣвецъ Тѣла во всѣхъ его хотѣньяхъ и жаждахъ, во всей его роскоши, въ страсти родниковой, водопадно-блестящей и брызжущей, въ страсти говорящей свободнымъ языкомъ, какъ говорятъ гени, звѣри, боги, и вѣтры; это пѣвецъ Народа, какъ мощнаго цѣлаго, который былъ въ вѣкахъ Исторіи лишь смутнымъ многоглавымъ чудовищемъ, просыпавшимся, кровожадно или героически, на пѣсколько мгновеній передъ новымъ сномъ, но который отнынѣ, отнынѣ ужъ не будетъ такимъ, ужъ не такой, ужъ пробужденъ на цѣлый историческій циклъ, ему предназначенный, его имъ принявшій, циклъ всенародности, всечеловѣческой благоволительной связи — между страной и страной, между общественными группами и группами, между общественнымъ цѣлымъ и личностью, между отдѣльнымъ человѣкомъ и человѣкомъ.

Говорятъ, что каждый родитель подъ своею Звѣздой. Я сказалъ бы, что Уолтъ Уитманъ ро-

дился подъ многозвѣзднымъ вліяніемъ Млечнаго Пути, потому-то онъ такъ хочеть связать всѣ души въ гроздя звѣздъ. Заставить все Человѣчество излучить, въ немъ скрывающійся, свѣтъ, и, перенеся такимъ образомъ Небо на Землю, воистину бросятъ Землю въ космическую пляску свѣтилъ—ображенной.

Въ каждомъ есть все, говоритъ Уитманъ. Нужно въ каждомъ пробудить его самого, и онъ будетъ все. Черезъ ясность и правду пола, черезъ полную правду предъ самимъ собой, чрезъ гармоническую связь съ своей родной страной и всей Землей, объятай ежесекундною стремленья, мы приходимъ къ ощущенію чудесности бытія. Сердце не можетъ жить безъ чуда. Но мы ищемъ его въ призрачной далекости, между тѣмъ какъ оно всегда близко.

ЧУДЕСА

Что это, кто это тамъ посится съ чудомъ?
Что до меня, я не знаю кромѣ чудесъ ничего,
Брожу ли я въ Маннагаттѣ по улицамъ,
Или свой взоръ устремляю надъ крышами въ высь, къ небесамъ,
Или съ босыми ногами хожу по прибрежью, по самому краю воды,
Или стою подъ деревьями въ чащѣ лѣса,
Или днемъ говорю съ кѣмъ-нибудь, кого я люблю,
Или ночью, въ постели, сплю, съ кѣмъ-нибудь, кого я люблю,
Или сижу за столомъ и спокойно обѣдаю,
Или гляжу на чужихъ, что ѣдутъ вонъ тамъ противъ меня въ каретѣ,

Или слѣжу за пчелами, какъ онѣ въ лѣтній полдень хлопочуть,
вьются вкругъ улья,
Или смотрю, какъ животныя кормятся въ полѣ,
Или смотрю на птицъ, на волшебность игры насѣкомыхъ, ле-
тающихъ въ воздухѣ,
Или смотрю на волшебность закатнаго солнца, на звѣзды, что
свѣтятъ свѣтло и спокойно,
На изысканный тонкій серпъ молодой луны весной;
Это вмѣстѣ съ другимъ, одно и все, для меня чудеса,
Все въ общей связи, но каждое все же отдѣльно и на мѣстѣ
своемъ.

Для меня каждый часъ свѣта и тьмы есть чудо,
Каждый кубическій дюймъ пространства есть чудо,
Каждый квадратный ярдъ земной поверхности тѣмъ же покрытъ,
Каждый футъ внутренняго тѣмъ же кишитъ.

Для меня глубокое море есть непрерывное чудо,
Рыбы, которыя плавають — скалы — движеніе волнъ — корабли съ
людьми на судахъ,
Какія еще чудеса есть страннѣе?

Ничего нѣтъ чудеснѣе отдѣльной, отъединен-
ной, полновольной и полночувствующей личности,
которая въ себѣ находитъ свой законченный міръ,
и пути къ тому, что называется внѣшнимъ, не—я,
Вселенной. Уитманъ поетъ именно этого одного,
отъединеннаго.

Мы не чувствуемъ, что наше тѣло божественно.
Мы не чувствуемъ и не знаемъ, что движенія страсти,
связанныя съ нашимъ тѣломъ, суть поэма Красоты,
которую нужно лелѣять. Глубоко извращенные
историческимъ Христіанствомъ, полные неумной
грубости, самоневниманья, самонегреженья, вопло-
щенные духи несоразмѣрности частей, среди кото-

рыхъ голова стала какимъ-то самостоятельнымъ отъ другихъ частей тѣла чудовищемъ, насѣвшимъ на нихъ, давящимъ ихъ, насилующимъ ихъ, искажающимъ ихъ, мы почти неспособны понимать красоты *живущаго тѣла*, прекраснаго во всѣхъ своихъ движеніяхъ и побужденіяхъ, здороваго, законченнаго, одухотвореннаго, страстнаго, убѣдительно-узывчиво-страстнаго.

Уитманъ возстановляетъ человѣческое тѣло въ его утраченныхъ правахъ. Онъ возвращаетъ ему первородный его вѣнецъ, и природно-правдивыми, прямо къ цѣли идущими строками заставляеть насъ чувствовать ошибочность нашихъ обычныхъ воспріятій тѣла и неизсякаемая свойства красоты тѣлесности. „Электрическое тѣло“, восклицаетъ Уитманъ.

Я пою электрическое тѣло,
Полчища тѣхъ, кого я люблю, окружають меня, и я окружаю
ихъ,
Они не хотятъ меня отпустить, пока не пойду я съ ними, пока,
не отвѣчу имъ,
И сниму съ нихъ порчу, и ихъ наполню полнотою души.
И еще полагали, что тѣ, кто тѣла оскверняютъ свои, могутъ
прятаться?
И еще сомнѣвались въ томъ, что тотъ, кто живыхъ оскверняетъ,
такъ же дурень, какъ тотъ, кто оскверняетъ мертвыхъ?
И въ томъ, что тѣло значить столько же, сколько душа?
Но, если тѣло не есть душа, что же есть душа?
Любовь тѣла мужскаго и женскаго опровергаетъ всѣ счеты,
тѣло само опровергаетъ всѣ счеты,
Тѣло мужское прекрасно, и прекрасно женское тѣло.
Выраженіе лица посмѣвается надъ изъясненіями,

Но выраженье мужчины стройнаго, статнаго не только въ его
лицѣ,

Оно въ его членахъ также, въ его суставахъ, оно любопытно
видится въ суставахъ кисти его и бедра,

Оно въ походкѣ его, и въ томъ, какъ держитъ онъ шею, въ
сгибѣ его поясицы, колѣнъ, одежда его не скрываетъ,

Видѣть, какъ онъ идетъ, это столько же, сколько есть въ лучшей
поэмѣ, можетъ быть больше,

Вы медлите, чтобы увидѣть спину его, и задній изгибъ его
шеи, и линію плечъ.

Барахтанье полныхъ здоровыхъ дѣтей, груди и головы женщинъ,
складки ихъ одѣяній, ихъ манера держаться на улицѣ,
очертанье фигуръ ихъ къ низу,

Пловецъ обнаженный, плывущій въ купальнѣ, котораго видно,
когда онъ плыветъ, въ прозрачномъ зеленомъ сіяньи, или
лежитъ съ лицомъ, обращеннымъ вверхъ, и молча качается
вправо и влево въ подъемѣ воды,

Склоненье впередъ и назадъ гребцовъ въ ихъ гребныхъ судахъ,
ѣздока въ сѣдлѣ его,

Дѣвушки, матери, хозяйки, во всемъ, что онѣ имъ дѣлаютъ,
Группа рабочихъ, сидящихъ въ полдень, у открытыхъ своихъ
котелковъ, межъ тѣмъ какъ жены имъ служатъ,

Няня съ ребенкомъ, дочь фермера, въ саду или на скотномъ
дворѣ,

Парень, киркой расчищающій землю къ поѣзду, кучеръ въ са-
няхъ, свою шестерню черезъ толпу направляющій,

Борьба двухъ борцовъ, двухъ юныхъ матросовъ, взрослыхъ,
веселыхъ, здоровыхъ, съ открытыми лицами, естествен-
ныхъ, вольныхъ послѣ работы своей, на закатѣ солнца,

Плащи и куртки отброшены, объятье любви и упора,
Схватка вверху и хватка внизу, растрепаны волосы, разметал-
ись, слѣпятъ имъ глаза,

Маршировка пожарныхъ въ ихъ форменномъ платьѣ,
Возвращенье съ пожара неторопливое, замедленное, когда вдругъ
опять призываютъ ихъ колоколь, внимательность насто-
рожившихся,

Совершенныя позы, естественныя, разнообразныя, наклонъ головы, изогнутая шея, считанье,
Такихъ я люблю,—я весь распускаюсь, свободно иду, у груди
материнской я съ малымъ ребенкомъ,
Плыву я въ пловцами, съ борцами борюсь, въ ногу иду съ пожарными, замедляю свой шагъ, считаю, и слушаю.

Уольтъ Уитманъ рисуетъ простого сильнаго чело-
вѣка, старика-фермера, десятки лѣтъ вдыхавшаго
въ себя свободный воздухъ и запахъ солнца, „отца
пяти сыновей, и въ нихъ-отцовъ сыновей“, онъ гово-
рить объ этомъ сынѣ Природы, что, „когда онъ шель
на охоту или рыбную ловлю, съ пятью сыновьями сво-
ими и многими внуками, вы сразу его увидали бы, онъ
былъ самый красивый и сильный въ этой толпѣ“,—и
вы чувствуете, что это такъ и должно было быть:
вѣдь слишкомъ (восемь десятковъ онъ прожилъ,
онъ дольше всѣхъ другихъ дышалъ землей и
солнцемъ, онъ дольше другихъ ежедневно прича-
щался первороднаго бытія, и потому вамъ радостно
долго и долго быть вмѣстѣ съ нимъ, касаться
его,—вѣдь таинствъ Природы вы здѣсь касаетесь.
Уитманъ поетъ какъ птица, когда говорить о ча-
рахъ этихъ тѣлесныхъ, этихъ духовныхъ касаній.

Вотъ это женская форма,

Съ головы до ногъ отъ нея ореоль исходитъ божественный, —
Она привлекаетъ къ себѣ ирритажениемъ неумолнимымъ, неотри-
цаемымъ,

Я привлеченъ дыханьемъ ея такъ, какъ будто бы я не больше
чѣмъ безпомощный царь, все кругомъ отпадетъ, кромѣ
меня и этого.

Книги, искусство, религія, время, зримая плотность земли и то,
чего ждалъ отъ небесъ, и чего ужасался въ аду, все
растаяло,

Безумныя нити растутъ изъ этого, ростки пробиваются неудар-
жимо, неударжимый отвѣтъ,

Волосы, грудь, бедра, ноги, изгибъ ихъ, небрежно упавшія
руки разъятыя, и мои разомкнулись,

Отливъ, приливомъ ужасенный, и приливъ, отливомъ ужасен-
ный, любовная плоть позстающая, крѣпнущая и полная
сладостной боли,

Безграничныя свѣтлыя брызги любви горячей, безмѣрной, дрожа-
щая влага густая любви, бѣлоцвѣтный плѣнительный сокъ,
Новобрачная ночь любви, вѣрно и нѣжно входящая въ зарю
распростертую,

Волнообразно входящая въ день, хотищій и отдающійся,
Потерявшаяся въ этомъ нѣжномъ разрывѣ объявленнаго сладко-
тѣлеснаго дня.

Это узелъ, а послѣ ребенокъ рождается женщиной, человѣкъ
порожденъ есть отъ женщины,

Омоенье рожденья, слянье большого и малаго, и новый опять
исходъ.

Не стыдитесь, о, женщины, исключительность нашего права
что вы обнимаете все остальное въ себѣ, результаты всего
остального,

Вы ворота тѣла, и вы же врата души.

Если я вижу душу мою отраженной въ Природѣ,

Если сквозь дымку я вижу Кого-то въ невыразимомъ здо-
ровьи, законченности, красотѣ,

Вижу склоненную голову, руки крестъ на крестъ, Женщину
вижу я.—

Мужчина не меньше душа, и не больше, онъ также на мѣстѣ
своемъ,

Онъ также есть все качества, онъ сила и дѣйствіе,

Яркая вспышка вселенной, что вѣдома, въ немъ,

Презрѣнье подходит къ нему, хотѣнья и вызовъ идутъ къ
нему очень,

Самыя дикія страсти, страсти безъ удержу, благословенье въ предѣльности, скорбь до предѣльности, очень ему къ лицу, и къ лицу ему гордость,

Гордость мужчины съ полнымъ размахомъ успокоительна и превосходна есть для души,

Знаиье идетъ къ нему, онъ его любитъ всегда, онъ каждую вещь по волѣ своей испытуетъ,

Что бъ ни пришлось обозрѣть, и какое бъ то ни было море съ парусами какими бъ то ни было, онъ свои измѣренія лотомъ наконецъ завершаетъ лишь здѣсь,

(Гдѣ какъ не здѣсь завершитъ онъ свои измѣренія?).--

Тѣло мужчины священно и тѣло женщины священно,

Кто бъ это ни былъ, неважно, оно есть священно--развѣ ничтожнѣй всего оно въ артели рабочихъ?

Пусть это будетъ тѣло одного изъ нихъ, съ загрубѣлымъ лицомъ, эмигрантовъ, сейчасъ лишь причалившихъ къ пристани,

Каждому мѣсто его, или мѣсто ея, въ процесси.

Все есть процессія,

Вселенная есть процессія съ совершеннымъ размѣрнымъ движеньемъ.

Кто умѣлъ такъ говорить о тѣлѣ, долженъ былъ найти для выраженія страсти особыя слова, какихъ не встрѣтишь у другого. И на самомъ дѣлѣ, если взять любовные стихи другихъ поэтовъ, поймешь, что это—любовные стихи. Если взять строки страсти у тѣхъ поэтовъ, которые все свое творчество основали на страсти, поэтовъ нѣжныхъ, утонченныхъ, по праву наименованныхъ сладкопѣвцами, мы найдемъ у нихъ много плѣнительныхъ шопотовъ, звуковъ напѣвныхъ, и вскриковъ, и чарь усыпляющихъ, сладко влюбляющихъ, словъ поцѣлуйныхъ. Но только стихійный буйный Уитманъ, чуждый ком-

натнаго воздуха, спѣлъ такой гимнъ страсти, которъй, думается мнѣ, является единственнымъ среди всѣхъ другихъ.

„Одинъ часъ безумья и радости“ — сплошная страсть, сплошная нѣжность, сплошной вскрикъ вольной души, влюбившейся въ тѣло, полюбившей его, души, обвѣнчавшейся съ тѣломъ на свадебномъ празднествѣ яркой внезапности. Тутъ не лепеты наши, не двери и лѣстницы, не закрытыя окна и погасшія свѣчи, а разрывъ скалы отъ касанія молніи, и радость мгновенно взметнувшейся влаги дремавшихъ въ сокрытомъ ключей.

Одинъ часъ безумья и радости!

О, изступленный! Не умѣрай меня!

(Что это такъ освобождаетъ меня въ этихъ буряхъ?

Что означаютъ вскрики мои среди молній и бѣшеныхъ вѣтровъ?).

О, испить мистическихъ бредовъ глубже, чѣмъ кто бы то ни было!

О, дикія и нѣжныя боли! (Я ихъ вамъ завѣщаю, дѣти мои, Я ихъ вамъ завѣщаю, не безъ причины, о, женихъ и невѣста!).

О, отдаться тебѣ, кто бы ты ни была, и взять тебя, отдающуюся, вопреки всему міру!

Возвратиться въ Рай! О, стыдливая, женственная!

Привлечь тебя близко къ себѣ, и впервые прижать къ тебѣ губы мужчины, который рѣшителенъ!

О, смущеніе, трижды завязанный узелъ, глубокій и темный прудъ, Весь свободный и свѣтомъ залитый!

О, умчаться туда, гдѣ наконецъ достаточно мѣста, достаточно воздуха!

Быть вольнымъ отъ прежнихъ цѣпей и условностей, я отъ моихъ и ты отъ твоихъ!

Найти неожиданно лучшее, что есть въ Природѣ, и имъ наслаждаться небрежно!

Почувствовать ротъ свой свободнымъ, который былъ замкнутъ,
Почувствовать ясно, что нынче, или когда бы то ни было, я доволенъ собой, я доволенъ!

О, что-то, чего не зналъ! что-то во снѣ заколдованномъ!

Ускользнуть совершенно отъ всякихъ зацѣпокъ чужихъ, отъ якорей, трюмовъ!

Вольно нестись! вольно любить! броситься прямо въ опасность безъ удержу!

Заигрывать съ гибелью, звать ее, ну-ка поди сюда!

Восходить, взлетать къ небесамъ любви, мнѣ назначенной!

Подниматься туда своей опьяненной душой!

Погибнуть, разъ это должно!

Весь остатокъ жизни наполнить часомъ, часомъ однимъ полноты и свободы!

Короткимъ часомъ однимъ безумья и радости!

Уольтъ Уитманъ—освобожденный и свободный. Онъ вѣстникъ освобожденія для всѣхъ, кто къ нему прикоснется, какъ всѣхъ освобождаетъ видъ Моря, водопада, или великихъ рѣкъ, шумъ вѣтра, гулъ грозы, разлитіе красокъ разсвѣта по небу, и тайна углубленія многозвѣздной лазури, по которой стелются покровы Ночи. Уольтъ Уитманъ—размахъ. Онъ—птица въ воздухѣ. Онъ—какъ тотъ морской орель, который зовется фрегатомъ, остро зрѣніе у этой птицы, и питается она летучими рыбами, и вся какъ бы состоитъ изъ стали; она—какъ серпъ, какъ коса, крылья у нея—какъ воздушные ятаганы, когда она паритъ въ воздухѣ; играя металлическиморскимъ отливомъ перьевъ, она вся—боевое стремленье. Такъ она и зовется по-англійски: *Man-of-*

War-Bird, Птица-боец. Въ одинъ изъ морскихъ часовъ своихъ, Уитманъ спѣлъ этой птицѣ гимнъ, въ которомъ мы чувствуемъ крылья, ощущаемъ Море и Воздухъ, въ ихъ слитной безбрежности.

ПТИЦА-БОЕЦЪ

(Фрегатъ)

Ты, спавшій на бурѣ всю ночь,
Проснувшійся весь обновленный на своихъ непомѣрныхъ кры-
лахъ,

(Гроза разразилась? Ты выше поднялся, надъ дикой,
На тучѣ покоился, туча качала тебя, рабыни баюкала),
Ты синяя точка теперь, далеко, далеко на небѣ,

Плывешь,

Межъ тѣмъ какъ на палубѣ здѣсь и слѣжу за тобой, выплывая
на свѣтлую полосу,

(Самъ точка, лишь атомъ въ ионучей пустынѣ міровъ).

Далеко, далеко на морѣ,

Послѣ ночи съ свирѣпымъ приливомъ, усѣявшимъ берегъ об-
ломками,

Съ новымъ днемъ, какъ сегодня, счастливымъ и яснымъ,

Съ зарей возростающе-розовой,

Съ ослѣпительнымъ солнцемъ, въ просторѣ лазурнаго чистаго
воздуха,

Ты тоже являешься вновь.

Ты, рожденный соперничать съ вихремъ, (ты, вѣтеръ, всѣ
вѣтры),

Ты, готовый схватиться съ просторомъ небесъ, съ ураганомъ,
съ землею и съ моремъ,

Ты, воздушный корабль, паруса никогда не роняющій,

Дни, ночи, недѣли, безъ усталы, прямо, впередъ, черезъ простран-
ства, черезъ царства, ты кружишься, мчишься,

Ты въ сумеркахъ былъ въ Синегалѣ, ты утромъ въ Америкѣ,
Ты играешь межъ вспыхнувшихъ молній, и въ тучахъ громо-
выхъ,

Въ нихъ, въ эти забавы ты душу мою захвати,—
О, что бь это былъ за восторгъ! твой восторгъ!

Тяжелымъ камнемъ падаетъ птица внизъ, на
добычу. Тяжелымъ камнемъ падаетъ мысль поэта,
который воистину обладаетъ крыльями и смотритъ
не въ маленькій замкнутый уголь ограниченной
мечтательности, а глядитъ на Миръ и Жизнь во
всей ихъ объемности.

Послѣ воздушныхъ ликующихъ строкъ Жизнь
подаритъ глядящему на нее иныя строки. Поэтъ,
упиваясь отдѣльностью, вольностью, только что
рѣзалъ въ провалахъ воздушныхъ пространствъ. Но
вотъ передъ нимъ странное что-то, что онъ зоветъ—
Городской мертвый домъ.

У воротъ городского мертваго дома,
Когда праздно я шелъ, уходя дорогой своею отъ криковъ,
Я съ любопытствомъ замедлилъ шаги, ибо вотъ, отверженный
призракъ, тѣло несутъ проститутки умершей,
Тѣло ея никто не зоветъ, они положили его на сырой, на кир-
пичный полъ,
Тѣло ея, божественной женщины, я вижу тѣло ея, я лишь
одинъ на него смотрю,
Ни эта холодная тишь, ни вода, что каплетъ изъ крана, ни
мертвенный запахъ отвѣта во мнѣ не находятъ,
Лишь домъ этотъ— дивный домъ— этотъ тонкій красивый домъ
погибшій,
Этотъ бессмертный домъ, больше чѣмъ всѣ ряды зданій, когда
либо выстроенныхъ,
Красивый страшный обломокъ - жилище души—самъ душа,

Никѣмъ не воззванный домъ, избѣгаемый всѣми—прими ды-
ханье одно отъ моихъ содрогнувшихся губъ,
Возьми слезу одинокую, межъ тѣмъ какъ я ухожу, какъ мысль
о тебѣ,
Мертвый домъ любви—домъ грѣха и безумья, разбитый, раз-
рушенный,
Домъ жизни, недавно еще полный смѣха и говора—но бѣдный
о, бѣдный домъ, и тогда уже мертвый,
Мѣсяцы, годы исполненный откликовъ, убранный домъ—но
мертвый, но мертвый, мертвый.

Мысль Уитмана, въ живомъ живая, среди болей
чужихъ горящая болью своей и чужой, не случайно
останавливается на чудовищныхъ слѣдствіяхъ на-
шихъ общихъ уродливостей. Она слышитъ и ви-
дитъ все.

Я сижу и гляжу на всѣ скорби міра, на весь его гнѣтъ и стыдъ,
Я слышу рыданья, припадокъ рыданій юношей, полныхъ раска-
янья, послѣ дѣлъ уже сдѣланныхъ,
Я вижу убогую жизнь старухи, гонимой своими дѣтьми, уми-
рающей, полной отчаянья, скорбной, худой,
Я вижу, какъ мужъ обращается дурно съ женой, я вижу, какъ
соблазнитель вовлекаетъ въ обманъ юныхъ женщинъ,
Я вижу, какъ ревность и жжетъ и грызетъ, какъ любовь безъ
отвѣта старается спрятаться, я вижу все это здѣсь на
землѣ,
Я вижу все то, что свершаютъ сраженье, чума, тираннія, уз-
никовъ вижу и мучениковъ,
Я вижу голодъ на морѣ, смотрю, какъ матросы жребій бросаютъ,
кто будетъ убитъ, чтобы жизни другихъ сохранить,
Я вижу, какъ наглые люди заносчиво унижаютъ рабочихъ, тѣс-
нить бѣдняковъ, и негровъ, и всѣхъ угнетенныхъ;
Все это—всю эту низость и пытку, которой конца нѣтъ, я все
это взоромъ объемяю,
Вижу, слышу, молчу.

Въ этихъ поэтическихъ перечисленіяхъ передъ нами два разряда бичей, которые хлещутъ и хлещутъ насъ. Одни носятъ какъ бы вѣчный характеръ, во всякомъ случаѣ характеръ всеисторической. Не будемъ пока говорить о нихъ, хотя и о нихъ, какъ объ устранимыхъ, говорить въ своей поэтической теодицеѣ Уитманъ. Бичи другіе, легко устранимые, временные, чисто-условные, хлещутъ насъ также больно, уродуютъ, мстятъ, забиваютъ насъ на-смерть. Эти бичи—неправосудности нашей жизни, въ основныхъ ея устроеніяхъ. Мы живемъ въ зломъ домѣ, фундаментъ его—на трупахъ, на полутрупахъ, на живыхъ мучимыхъ. Нужно разрушить злой домъ и построить другой. Мы—люди, мы—строители, неужели не властны мы выстроить все, что подскажетъ намъ чувство, и нарисуетъ мысль!

Путь строенья—борьба. Борьба отъединеннаго съ собой, и бой отъединеннаго съ слитной громадой соединенныхъ чудовищъ, которыя живутъ неправосудностями.

Путь строительства—путь, усѣянный красными цвѣтами. Уитманъ это знаетъ. Но онъ себя хочетъ отдать, лишь бы этотъ путь существовалъ. „Капайте, капли“, говоритъ онъ.

Капайте, капли! оставляйте вены мои голубья!
О, капли меня! медленныя капли, сочитесь!
Чистосердечно отъ меня отпадая, капайте, капли кровавыя,
Изъ ранъ, нанесенныхъ, чтобъ волю вамъ дать, на волю изъ
плѣна васъ выпустить,
Изъ лица моего, изо лба моего, и губъ,

Изъ груди моея, изнутри, гдѣ я былъ сокрытъ, вытѣсняйтесь,
красныя капли, исповѣдальныя капли,
Запятняйте страницу каждую, запятняйте каждую пѣсню, которую
я пою, кровавыя капли,
Дайте узнать имъ вашъ алый жаръ, дайте блистать имъ,
Насытите ихъ вами, совсѣмъ пристыженными, мокрыми,
Сіяйте надъ всѣмъ, что я написалъ или что еще напишу, кро-
вавыя капли,
Въ вашемъ свѣтѣ да будетъ все видно, капли румяно-красныя

Да будетъ все видно, и да будетъ все пере-
создано. Все заново.

Путь пересозданія Уитманъ видитъ въ торжествѣ
Демократіи. Но онъ понимаетъ это слово не въ
томъ жалкомъ ограниченномъ партійномъ смыслѣ,
какъ понимаютъ и примѣняютъ это слово теперь.
Не политически-экономическая формула для него
это, а религіозно-философская система, въ которую
политически-экономическіе вопросы входятъ лишь
какъ часть, я сказалъ бы—какъ внѣшняя часть.

Уитманъ утверждаетъ, что основные элементы
достойной жизни и національнаго величія—сильный
характеръ, независимая личность, искренняя рели-
гіозность—не церковная, конечно, религіозность
разумѣется здѣсь, а благоговѣйное воспріятіе всѣхъ
ощущеній бытія, гармонизированіе нашихъ диссо-
нансовъ, вольное слитіе отдѣльныхъ звуковъ и
мелодій въ одну всемірную Симфонию.

Уитманъ убѣжденно говоритъ, что демократи-
ческая идея, надлежащимъ образомъ ухваченная, и
систематически приложенная къ поведенію, вполне
достаточна, чтобы перестроить общество на здоро-

вомъ основаніи, и дать современнымъ народамъ ту идеальность, которой имъ не хватаетъ, и безъ которой жизнь некрасива. Изъ давящей земли исторгнуть на волю расцвѣтающій стебель. „Изъ всего этого“, говоритъ Уитманъ, „изъ всѣхъ этихъ жалкихъ условій, выйти, вдохнуть въ нихъ возрождающее дыханіе здоровой и героической жизни, я разумѣю вновь найденную литературу, не простое копированье и отраженье существующихъ поверхностей, или сводническое подслуживанье къ тому, что называется вкусомъ—не только забавлять, проводить время, прославлять красивое, утонченное, прошлое, или являть техническую, ритмическую, грамматическую ловкость—но литературу, являющуюся основой жизни, религіозную, согласующуюся со знаніемъ, съ полномочной властью управляющую стихіями и силами, научающую и воспитывающую людей, и—быть можетъ, самый цѣнный изъ результатовъ ея—свершить освобожденіе женщины, изъ этихъ невѣроятныхъ заточеній и путь глупости, модничанья, и всякаго рода малокровнаго худосочія—и такимъ образомъ обезпечить сильную и нѣжную женскую расу—вотъ что нужно“.

Осуждая всю прошлую Европейскую литературу, Уитманъ говоритъ: „Великіе поэты—включая Шекспира—отравны для идеи гордости и достоинства простого народа, жизненной крови Демократіи. Образцы нашей литературы, какъ мы ихъ получаемъ изъ другихъ странъ, изъ-за моря, имѣли

свое рожденіе при дворахъ, они грѣлись и выросли на солнечномъ свѣтѣ въ замкѣ: всѣ отзываются милостями принцевъ“.

Пересоздать Религію, Литературу, Воспитаніе, всю Жизнь—на основахъ Демократіи. Чтобы она цвѣткомъ, плодомъ, сіяньемъ, свѣтомъ вошла въ человѣческіе нравы. „Литература не знаетъ о безмѣрномъ богатствѣ скрытой силы и способностей народа, объ обширныхъ его художественныхъ контрастахъ свѣтовъ и тѣней“. Гордый замысел Уитмана: изъ Новаго, основаннаго на Демократіи, какъ на всеобъемлющемъ, всезахватывающемъ принципѣ, создать равноцѣнность историческому Прошлому, великому при всѣхъ своихъ ужасахъ и неправосудностяхъ, великому, прекрасному, но изжитому безвозвратно. И прекрасному какъ Прошлое, какъ картина отошедшаго, но отвратному, когда Прошлое, изжитое, хочетъ быть Настоящимъ, и цѣпляется уродливо за живое и молодое, какъ жадный Вампиръ, вставшій изъ могилы, не надлежащимъ образомъ закопанной.

Чтобы Прошлое стало совсѣмъ Минувшимъ, а Новое расцвѣтающимъ и цвѣтущимъ, нужна борьба, и во имя этой борьбы Уитманъ обращается съ свѣтомъ къ Поэту, къ каждому человѣку, который захотѣлъ бы быть красивымъ, быть во всемъ своемъ—Поэтомъ:—„Вотъ что ты долженъ дѣлать: Люби землю и солнце и животныхъ, презирай богатство, давай свою скудную лепту каждому, кто тебя попроситъ, поддерживай неразумнаго, засту-

пись за слабаго, посвящай, что заработаешь и свою работу, другимъ, ненавидь угнетателей, не вступай въ препирательства о Богѣ, имѣй терпѣнье съ людьми и снисходительность, не склоняйся ни передъ чѣмъ извѣстнымъ или неизвѣстнымъ, или передъ какимъ либо человѣкомъ или соединеніемъ численнымъ людей—веди себя свободно съ сильными людьми, неполучившими воспитанія, и съ молодежью, и съ матерями семей—пересмотри умомъ все, что тебѣ говорили въ школѣ или въ церкви или въ какой-нибудь книгѣ, и отвергни все, что оскорбляетъ твою собственную душу; и твоя собственная плоть будетъ великой поэмой, и будетъ имѣть роскошнѣйшую краснорѣчивую гибкость, не только въ словахъ, но и въ безгласныхъ линіяхъ губъ и лица, и между рѣсницами глазъ твоихъ, и въ каждомъ движеніи и суставѣ твоего тѣла. Поэтъ не будетъ терять свое время въ безплодности. Онъ узнаетъ, что почва уже разработана, почва воздѣлана: другіе могутъ не знать этого, онъ узнаетъ. Онъ прямо подойдетъ къ мірозданію“.

Во имя борьбы за Новое, Уитманъ поднимаетъ бранное знамя, и поетъ боевую пѣсню, „не только для этого дня, но на тысячу лѣтъ поетъ эту пѣсню“. Въ утренній часъ онъ слышитъ говоръ-переключку Поэта, Знамени, Ребенка и Отца. Онъ заноситъ для насъ на пергаментѣ „Пѣснь разсвѣтнаго Знамени“.

ПѢСНЬ РАЗСВѢТНАГО ЗНАМЕНИ

Поэтъ

О, новая пѣснь, свободная пѣснь,
Ты бьешься, ты бьешься, ты бьешься, ты бьешься,
Зовы тебя порождаютъ, и четкій напѣвъ голосовъ,
Голосъ вѣтра и зовъ барабана,
Голосъ знамени, голосъ ребенка, и голосъ моря, и голосъ отца,
Низко здѣсь на землѣ, и высоко тамъ въ воздухѣ,
На землѣ, гдѣ стоятъ отецъ и ребенокъ,
И въ воздухѣ вышнемъ, куда глаза устремляются,
Гдѣ бьется разсвѣтное знамя.

Слова! что вы, мертвые книжности!
Нѣтъ больше словъ, ибо глядите и слушайте,
Пѣсня моя здѣсь звучитъ на открытомъ воздухѣ,
Я долженъ пѣть вмѣстѣ съ знаменемъ; съ браннымъ стягомъ.

Скручу я струну, и вкручу въ нее
Желанье мужчины, желанье ребенка, я вкручу ихъ въ нее,
Жизнью струну я наполню,
Я вмѣщу въ нее яркій конецъ штыка,
Я вкручу въ нее пули и свисты картечи,
(Какъ тотъ, кто несетъ угрозу и символъ далеко въ грядущее,
Съ голосомъ трубнымъ крича: *Пробудитесь, возстаньте, Про-
будитесь, возстаньте!*).

Я стихъ изолью съ потоками крови, полный волеенья и радости,
Стихъ текучій, иди же скорѣе, соперничай
Со знаменемъ, знаменемъ браннымъ.

З н а м я

Сюда, ко мнѣ, пѣвецъ, пѣвецъ,
Сюда, ко мнѣ, душа, душа,
Сюда, ко мнѣ, ребенокъ малый,

Мы будемъ въ облакахъ носиться,
Съ вѣтрами будемъ мы играть,
Съ вѣтрами будемъ мы кружиться,
Съ безмѣрнымъ свѣтомъ веселиться.

РЕБЕНОКЪ

Отецъ, скажи, что тамъ въ небѣ манить меня длиннымъ паль-
цемъ,
И что это мнѣ въ то же время говорить, говорить?

ОТЕЦЪ

Ничего, дитя, ты не видишь въ небѣ,
Посмотри, тамъ въ домахъ, сколько яркихъ вещей,
Открываются лавки мѣняльныя,
Посмотри, приготовилось сколько повозокъ,
Чтобъ ползти среди улицъ съ товарами;
Сколько цѣнности въ нихъ, и труда сколько вложено,
Какъ желаетъ ихъ вся земля.

ПОЭТЪ

Свѣжимъ и розово-краснымъ солнце восходить все выше,
Море въ дали голубой плыветъ и бѣжитъ и плыветъ,
Вѣтеръ надъ лономъ морскимъ вѣетъ, стремится къ землѣ,
Вѣтеръ сильный идетъ съ запада, съ юго-запада,
Пѣной молочной-бѣлой играетъ надъ гранью водъ.

Но я-то не море и не красное солнце,
Я не вѣтеръ съ ребяческимъ смѣхомъ его,
Я не вѣтеръ, который и хлещетъ и бьетъ,
Но я тотъ, кто, незримый, приходитъ, поетъ,
Прихожу, и пою, и пою, и пою,
Я тотъ, кто лепечетъ въ ручьяхъ и дождяхъ,
Я птицамъ извѣстенъ въ поляхъ и въ лѣсахъ.

Они мнѣ щебечуть и утромъ и вечеромъ,
Я тотъ, кто извѣстенъ прибрежнымъ пескамъ,
И знаютъ шипящія волны меня,
И знамя, и бранное знамя,
Что мечется, бьется вверху.

РЕБЕНОКЪ

Отецъ, да оно живое,
Какъ тамъ много людей, тамъ дѣти,
Вотъ, мнѣ кажется, вижу—оно
Говорить съ своими дѣтьми,
Я слышу, оно говоритъ и со мной.
Какъ это волшебно!
О, оно расширяется—быстро растетъ—Отецъ,
Оно покрываетъ все небо.

ОТЕЦЪ

Перестань, перестань, глупый мальчикъ,
То, что ты говоришь, печалитъ меня,
И мнѣ очень не нравится;
Смотри съ другими, опять говорю,
Смотри не вверхъ, на знамена,
Взгляни, мостовая какая внизу,
И замѣть, какъ прочны дома.

ЗНАМЯ

Говори съ ребенкомъ, пѣвецъ,
Говори всѣмъ дѣтямъ на югъ и на сѣверъ,
Все забудь, укажи этотъ день,
Я вьюсь, развѣваюсь по вѣтру.

ПОЭТЪ

Я вижу не эти лишь полосы знамени,
Я слышу раскатные топоты армій,

И слышу я окликъ, зоветь часовой,
Я слышу ликующій вопль миллионъ,
Я слышу Свободу въ воззваньяхъ людей.
Гремятъ барабаны, безумствуютъ трубы,
Я самъ между ними—возсталъ, и лечу,
Я вольная птица лѣсовъ и утесовъ,
Я вольная птица морей,
Съ высотъ я взираю, на крыльяхъ, на крыльяхъ,
И мнѣ ли плѣнительный миръ отвергать,
Я вижу безчисленность пашень, амбары,
Я вижу работы, я вижу рабочихъ,
Я вижу несчетность телѣгъ и телѣгъ,
Я вижу, я слышу, летять паровозы,
Я вижу огромные мощные склады,
Я вижу на Западѣ груды зерна,
Надъ нимъ задержавшись, я рѣю,
Я вижу на Сѣверѣ лѣсъ строевой,
И вновь я на Югѣ, и всюду работа;
Окинувши цѣлое зоркимъ оглядомъ,
Я вижу, какъ цѣппы сбиранья и жатвы,
Я вижу, что значитъ Единство великихъ,
Надменныхъ, въ единое слитыхъ, владѣній,
(А сколько ихъ будетъ еще!),
Я крѣпости вижу надъ гуломъ портовымъ,
Приходятъ, уходятъ, плывутъ корабли,
И все же, и все же, надъ всѣмъ этимъ міромъ
Подъемаю я малое длинное знамя,
Возникшее въ видѣ меча.
Проворно летить оно, мечется, бьется,
Войну указуя и вызовъ,
Мой стягъ уже поднять надъ глыбами зданій,
Грозитъ лезвіемъ это звѣздное знамя,
Прочь миръ отъ земли и воды!

Знамя

Все громче и громче, сильнѣе, смѣлѣе,
Все дальше и дальше, пѣвецъ,
Пронзи своимъ голосомъ воздухъ,
Не миръ и богатства показывай дѣтямъ,
Довольно объ этомъ, мы ужасомъ будемъ,
Теперь ужъ мы ужасъ, теперь мы рѣзня.
Что значить обширность надменныхъ владѣній?
Ихъ пять, или десять, ихъ сколько, ихъ сколько?
И сколько тамъ складовъ и лавокъ мѣняльныхъ?
Все, все это наше, всѣ земли, всѣ воды,
И море, и рѣки, и нивы, и доли,
Для насъ паруса кораблей,
Для насъ эта ширь многотысячноверста,
Для насъ города съ многолюднымъ ихъ грохотомъ,
Для насъ миллионы людей,
О, бардъ, ты и въ жизни и въ смерти верховный,
Смотри, мы высоко, мы бранное знамя,
Такъ пой же, не только для этого дня,
На тысячу лѣтъ спой теперь эту пѣсню,
Для малой, для дѣтской души.

Ребенокъ

О! отецъ, я домовъ не люблю,
Никогда ихъ любить я не буду,
И монеты не нравятся мнѣ,
Но хотѣлъ бы подняться я вверхъ,
Отецъ, мой отецъ, это знамя люблю я,
Я хотѣлъ бы, и долженъ стать знаменемъ.

Отецъ

Мальчикъ родной, ты тревогой меня исполняешь!
Этимъ знаменемъ быть слишкомъ было бы страшно,

Мало ты знаешь о томъ, что такое сегодняшній день,
И что послѣ сегодня, всегда, навсегда,
Здѣсь выгоды нѣтъ никакой,
А опасность на каждомъ шагу,
Выйти во фронтъ и стоять передъ битвами -
И какими еще!
Что у тебя съ ними общаго?
Со страстями неистовыхъ, съ этой рѣзней, съ преждевре-
менной смертью?

Знамя

Такъ вотъ, я пою эту смерть и неистовыхъ,
Все сюда, да, всего я хочу,
Я, бранное знамя, подобное видомъ мечу,
Новый восторгъ, изстуженный,
И стремленья дѣтей, этотъ лепетъ ихъ,
Со звуками мирной земли я солью,
И съ влажными всплесками моря,
Корабли, что на морѣ сражаются въ дымъ,
И лядиность холоднаго дальняго Сѣвера,
Съ шелестѣньями кедровъ и сосенъ,
И дробь барабановъ, и топотъ идущихъ солдатъ,
И Югъ, съ его солнцемъ горячимъ,
И бѣлые гребни заливной волны
Береговъ Востока и Запада,
И все что замкнуто межъ ними,
Водопады и рѣки бѣгущія,
И горы, и поле, и поле, и лѣсъ,
О, весь материкъ въ его цѣлости,
Безъ забвенья малѣйшаго атома,
Все сюда, что поетъ, говорить, вопрошаетъ,
Все сюда, мы вберемъ и сольемъ это все,
Мы хотимъ, мы возьмемъ, мы беремъ, мы поглотимъ,
Довольно улыбочныхъ губъ
И музыки словъ поцѣлуйныхъ,

Изъ ночи возставши для дѣла благого,
Теперь ужъ не вкрадчивымъ голосомъ мы говоримъ,
А какъ вороны каркаемъ въ вѣтрѣ!

Поэтъ

Крѣпнеть все тѣло мое,
Жилы мои расширятся,
Все ясно теперь для меня.
Знамя, какъ ширишься ты, приближаясь изъ ночи,
Я тебя воспѣваю надменно,
Я тебя возглашаю рѣшительно,
Я прорвался, и нѣтъ больше путь,
Слишкомъ долго я глухъ былъ и слѣпъ,
Мой глазъ и мой слухъ утончились,
Ребенокъ ихъ мнѣ возвратилъ,
Я слышу, о, бранное знамя,
Твой насмѣшливый зовъ съ высоты,
Безумный! безумный! О, знамя,
Но я же тебя пою.
О, да, ты не тишь домовъ,
Ты не пышность и тяжесть богатства,
Возьми здѣсь любой изъ домовъ,
Коли хочешь, любой здѣсь разрушь,
Ты ихъ разрушать не хотѣло,
Но разнѣ имъ можно стоять,
Хоть часъ, если ты не надъ ними?
О, знамя, не цѣнность ты вещи,
Тебя не купишь на деньги,
Но что мнѣ все вѣщности жизни,
Что пристани мнѣ съ кораблями,
Вагоны, машины, машины,
Тебя лишь отсюда я вижу,
Изъ ночи, но съ гроздьями звѣздъ,
Ты свѣта и тьмы раздѣлитель,
Ты воздухъ вверху разрѣзашь,

Ты солнечнымъ блескомъ согрѣто,
 Ты мѣряешь пропасть небесъ,
 Въ то время какъ дѣльные съ дѣломъ,
 Толкуютъ про дѣло, про дѣло,
 Ребенку ты вдругъ полюбилось,
 Ребенокъ увидѣлъ тебя,
 О, ты, верховодное знамя,
 О, стигъ боевой и змѣиный,
 Въ выси, недоступной змѣю,
 Ты вьнешься и ты шелестинь,
 Ты образъ, ты только идея,
 Но кровь будетъ здѣсь проливаться,
 И яростно будутъ сражаться,
 И какъ ты возлюблено мной,
 И какъ ты возлюблено мной,
 Надъ всѣми, и всѣхъ призывая,
 И всѣми державно владѣя,
 Ты вьнешься, разсвѣтное знамя,
 Являя намъ звѣздный свой ликъ,
 И всѣхъ я и все оставляю,
 И вижу лишь бранное знамя,
 И знамя одно воспѣваю,
 Которое въ вѣтрѣ шумить!

Тамъ гдѣ у обычного стихотворца получается
 лишь политическое стихотвореніе, имѣющее опре-
 дѣленно-данный, однодневный, одномѣстный смыслъ,
 у поэта, знающаго, что значить быть „на крыльяхъ,
 на крыльяхъ“, возникаетъ гимнъ, совмѣщающій въ
 себѣ временное съ вѣчнымъ, художественную кра-
 соту съ чисто-человѣческимъ призывомъ, проник-
 новенную узывчивость живого голоса, убѣдитель-
 ность мгновенья, и священный характеръ столѣтій.
 Въ „Пѣсни разсвѣтнаго Знамени“ мы чувствуемъ,

знакомую намъ съ дѣтства, балладность Erlkönig'a, музыкальность сказочности, вспоминаемъ нашъ собственный лепетъ, когда, въ дѣтствѣ, впервые насъ коснулось широкое вѣяніе міровой жизни, ребенку болѣе понятное, чѣмъ взрослому, если взрослый чуждъ поэзіи героизма, живой философіи вѣчно-стремительнаго, вѣчно-боеваго бытія. Мы чувствуемъ всю драматичность повторнаго, въ историческихъ зрѣлищахъ неизбѣжнаго, столкновенія между отцами и дѣтьми, между естественнымъ самосохранительнымъ упоромъ, который хочетъ быть на мѣстѣ, хотя бы мѣсто перестало уже быть очагомъ покоя, а стало мѣстомъ неправды и духовной заразы, и между полуслѣпымъ и вѣще-зрячимъ молодымъ разбѣгомъ, которому хочется сдѣлать свой прыжокъ, и который, если разбѣжится достаточно, явно покажетъ, что пропасти можно пересѣчь—не перекидывая моста. Быстро, сразу, побѣдительно.

Профвѣшій „Пѣснь разсвѣтнаго Знамени“—это военный трубачъ, для многихъ битвъ и многихъ войскъ. Трубачъ, отъ котораго сердцу становится радостно, и легче становится идти сомкнутымъ строемъ.

Принцъ Сэхисмундо, герой драмы „Жизнь есть сонъ“, въ которомъ Кальдеронъ воплотилъ типъ чловѣка какъ чловѣка, впервые, послѣ тюремной тоски, ощутивши возможность исполнять всѣ свои прихоти, не хочетъ ни забавъ ни развлеченій, и говорить—

Лишь грому музыки военной
Мой духъ всегда внимать готовъ.

Подобно этому Уольтъ Уитманъ, надѣленный дарами отъ творческихъ фей такъ щедро, что могъ бы всю жизнь забавляться игрушками красокъ, страстей, и нарядностей, не хочеть покоя, не хочеть упонительности. Онъ беретъ трубу, и возвѣщаетъ бой.

Разставаясь съ нимъ, унесемъ въ душъ его боевой возгласъ.

Еще одинъ боевой возгласъ. Вскрикъ поэта борьбы.

ГРОМЧЕ УДАРЬ БАРАБАНЪ

Громче ударь, барабанъ! Трубы, трубите, трубите!
Въ окна и въ двери ворвитесь съ неумолимою силой,
Въ храмъ во время обѣдин, пусть всѣ уйдуть изъ церкви,
Въ школу, гдѣ учится юноша, силою звуковъ ворвитесь,
Жениху не давайте покоя не время теперь быть съ невѣстой,
Возмутите мирнаго пахари, который панеть и жнеть,
Гремите сильнѣй, барабаны громче, сильнѣе ударьте,
Рѣзкія трубы, трубите звучи намъ, призывный рогъ!

Громче ударь, барабанъ! Трубы, трубите, трубите!
Надъ суетой городовъ надъ уличнымъ шумомъ и грохотомъ.
Постели готовы для спящихъ, чтобъ спать эту ночь въ домахъ?
Не надо, не нужно, чтобъ спящіе спали въ постеляхъ своихъ.
Торговцы торгуютъ? Не надо! Не нужно теперь торгашей.
Ораторъ еще не умолкъ? Пѣвецъ будетъ пѣть пожалуй?
Въ судѣ адвокатъ защищаетъ дѣло свое предъ судьей?
Скорѣй же, скорѣй, барабаны разсыпьте гремящею дробью,
Пронзительно, трубы, трубите, звучи намъ, призывный рогъ!

Громче ударь, барабанъ! Трубы, трубите, трубите!
Переговорогъ не надо разубѣжденія прочь,

**О боязливомъ не думать—о слезахъ и моленияхъ не думать,
О старикѣ, умоляющемъ юношу, помыслы прочь,
Голосъ ребенка да смолкнетъ, зовъ материнскій да смолкнетъ,
Ждущіе похоронъ трупы, пусть даже вздрогнуть они,
Страшную вѣсть возвѣстите, боемъ своимъ, барабаны,
Съ воплемъ трубите намъ, трубы звучи намъ, призывный рогъ!**

Такъ умѣлъ говорить поэтъ, у котораго были
сѣдые волосы въ молодости и молодые глаза въ
старости.

Объ Уайльдъ

„Я бѣгу теперь отъ искусства“, говорилъ, за нѣсколько лѣтъ предъ своей смертью, Оскаръ Уайльдъ, встрѣтившись случайно съ однимъ изъ своихъ пріятелей въ Алжирѣ. „Я хочу молиться Солнцу, одному лишь Солнцу. Вы замѣтили, что Солнце гнушается мыслью? Оно изгоняетъ ее, мысль должна прятаться въ тѣни. Прежде Солнце жило въ Египтѣ. Солнце побѣдило Египетъ. Оно долго жило въ Греціи. Солнце побѣдило Грецію, затѣмъ Италію, затѣмъ Францію; нынѣ всякая мысль изгнана, вытѣснена до самой Норвегіи и Россіи, гдѣ никогда не бываетъ Солнца. Солнце завидуетъ искусству“.

Этотъ красивый парадоксъ, справедливый, какъ большая часть парадоксовъ, весьма характеренъ для „Короля Жизни“, умершаго преждевременно, для Джентльмена Поэзии, ринувшагося въ омутъ безславія, для художника, влюбленнаго въ наслаждение и угасшаго въ скорби *). Какъ жизнь Оскара Уайльда, вся сплошь, была блестящимъ смѣлымъ парадоксомъ, отравленнымъ чрезмѣрностью пре-

*) См. болѣе подробный этюдъ объ Оскарѣ Уайльдѣ въ моей книгѣ „Горныя Вершины“.

зрѣнія избалованнаго генія къ нищенски-убогой мѣщанской толпѣ, такъ яркимъ парадоксомъ является и его литературная слава, жизненная и посмертная. Какіе скачки! Литературный диктаторъ и многолѣтній триумфаторъ Лондона (и Парижа подвергается, послѣ своего процесса, полному небреженію и презрѣнью, литературно дѣлается мертвецомъ, превращается въ ничто — и черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ дѣйствительной своей смерти, вдругъ возникаетъ какъ свѣтлый фениксъ, и культъ его создается именно во имя его беззавѣтной любви къ искусству, и именно въ странахъ, рѣдко посѣщаемыхъ Солнцемъ: въ Германіи, въ Россіи, въ Польшѣ.

За послѣдніе годы онъ цѣликомъ переведенъ, и неоднократно, въ столь непохожей на него странѣ Прусскихъ штыковъ и комнатной демократіи; онъ нашелъ себѣ даровитую переводчицу среди изысканныхъ Поляковъ, такъ любящихъ все тонко-художественное *); онъ нашелъ себѣ цѣнителей и въ Россіи. Книгоиздательство „Грифъ“ напечатало его драму „Саломея“, книгоиздательство „Скорпіонъ“ выпустило его „Балладу Рэдингской тюрьмы“, являющуюся единственнымъ по силѣ воплемъ чело-вѣческой души предъ ужасомъ смертной казни, то же книгоиздательство „Грифъ“ издало хорошій переводъ примѣчательной его книги „De Profundis“ **), въ разныхъ переводахъ появились сказки Уайльда,

*) Мар. Фельдманъ.

***) Ек. Андреевой.

переводятся и, вѣрно, будутъ изданы цѣликомъ его драмы. Изъ этихъ послѣднихъ особенно красива „Саломея“, восточно-пряная и роскошная, ставившаяся съ успѣхомъ въ Парижѣ и въ Берлинѣ.

Наряду съ переводами произведеній Оскара Уайльда на иностранные языки, стали переиздаваться и въ самой Англии его сочиненія, находившіяся долгое время подъ запретомъ общественнаго безмолвія. Появились также нѣкоторыя его вещи, доселѣ неизвѣстныя. Къ числу ихъ относится интересный этюдъ „The soul of Man“. Этотъ очеркъ особенно интересенъ въ настоящее время: въ немъ утонченный эстетъ говоритъ съ сочувствіемъ о грядущемъ царствѣ Соціализма, торжество котораго онъ считаетъ несомнѣннымъ и желательнымъ. Съ простымъ и яснымъ краснорѣчіемъ Оскаръ Уайльдъ доказываетъ, что современный капиталистическій строй общественной жизни ведетъ къ глубокимъ униженіямъ человѣческаго лика и къ жестокимъ несправедливостямъ. Соціализмъ же, по его мнѣнію, освободитъ людей отъ несчетнаго количества вѣшнихъ путъ и приведетъ къ роскошному расцвѣту Индивидуализма. „Новый Индивидуализмъ“, говоритъ Уайльдъ, „для котораго Соціализмъ, желаетъ ли онъ этого или нѣтъ, теперь работаетъ, будетъ совершенной гармоніей. Онъ будетъ тѣмъ, чего Греки искали, но чего они не могли осуществить вполне,—развѣ лишь въ Мысли,—ибо они имѣли рабовъ и питали ихъ; онъ будетъ тѣмъ, чего Возрожденіе искало, но чего оно не могло осуществить

вполнѣ,—развѣ лишь въ Искусствѣ,—ибо оно имѣло рабовъ, и морило ихъ голодомъ. Это будетъ осуществлено вполнѣ и черезъ это каждый человѣкъ будетъ достигать своего совершенства. Новый Индивидуализмъ есть новый Эллинизмъ“.

Эти строки Уайльда о Соціализмѣ будутъ неожиданностью для многихъ почитателей его поэтического творчества. На самомъ же дѣлѣ они—лишь логическій выводъ изъ основныхъ свойствъ его свободолюбивой природы, преданной высокимъ наслажденіямъ мысли и творчества, и природы воистину благородной, ибо, желая для себя всего, онъ и за другими признавалъ это великое человѣческое право. Любя Красоту, онъ все хотѣлъ бы обнять ея сіяніемъ, и всѣ взоры обратить къ ней, оторвавши отъ некрасиваго, грубаго, внѣшняго, временнаго, подневольнаго, узкаго. На вопросъ читаль ли онъ „Записки изъ Мертваго Дома“, Оскаръ Уайльдъ отвѣчаетъ („De Profundis“, 20): „Эти русскіе писатели превосходны: что дѣласть ихъ книги великими,—это состраданіе, которое они въ нихъ вкладываютъ. Прежде я очень любилъ „Мадамъ Бовари“. Но Флоберъ не хотѣлъ состраданія въ своемъ произведеніи, и потому оно узко и удушливо. Состраданіе—открытая сторона литературнаго творенія, черезъ которую открывается просвѣтъ въ Вѣчность“.

Чрезвычайно сильны строки Уайльда о мученіяхъ человѣка, заключеннаго въ тюрьму (тамъ же, 30): „Страданіе—бесконечно-длинное мгновеніе. Его не раздѣлишь на времена года. Мы можемъ только

отмѣчать его оттѣнки и вести счетъ ихъ правильнымъ возрастамъ. Время не двигается для насъ само. Оно вращается. И кажется, оно вращается вокругъ одной точки: страданія... У насъ одно время года: время скорби. Насъ лишили солнца и луны. Пусть на дворѣ сверкаетъ день лазурью и золотомъ,—свѣтъ, что вползаетъ сквозь тусклое стекло, въ окно съ желѣзной рѣшеткой, за которой мы сидимъ,—скуденъ и сѣръ. Вѣчные сумерки—въ нашей камерѣ, какъ вѣчные сумерки—въ нашемъ сердцѣ“.

„Теперь я вижу“, говоритъ онъ далѣе (стр. 52), „что страданіе, какъ самое благородное душевное движеніе, на какое способенъ человѣкъ, есть самая типичная черта и вѣрнѣйшій признакъ всякаго возвышеннаго искусства“. „Только изъ страданій созидаются міры, и безболѣзненно не проходитъ ни рожденіе ребенка ни рожденіе звѣзды. Болѣе того: страданіе—напряженнѣйшая, величайшая реальность міра“. Трогательность и плѣнительность дѣтской души Поэта, который не можетъ не жить противорѣчіемъ! Оскаръ Уайльдъ былъ безразсуднымъ, вакхически-бѣшенымъ духомъ Наслажденія, Оскаръ Уайльдъ такъ краснорѣчиво говоритъ, когда души его нашептала свои слова исхудалая Сибила Страданія. Вполнѣ понятно, что ничей образъ такъ не притягивалъ фантазію Оскара Уайльда, какъ образъ Христа, противорѣчивый, полный зыбкихъ тайнъ, образъ юнаго бога, который, совершая первое чудо, превратилъ воду въ вино, а самъ испилъ въ своей

жизненной чашѣ всю горечь Мира,—говорилъ, улыбаясь, съ дѣтьми, говорилъ объ улыбкаѣ цвѣтовъ, а самъ умеръ съ разбойниками, пробитый гвоздями. Совсѣмъ особенны по красотѣ своей слова Уайльда о Христѣ (стр. 62): „Я сказалъ: Онъ принадлежитъ къ поэтамъ. Это вѣрно. Шелли и Софокль—братья Ему. И вся жизнь Его—чудеснѣйшая поэма... Ни у Эхсила, ни у Данте, этихъ суровыхъ мастеровъ нѣжности, ни у Шекспира, наиболѣе въ своей чистотѣ человѣчнаго изъ всѣхъ великихъ художниковъ, ни въ Кельтійскихъ мифахъ и легендахъ, гдѣ сквозъ туманъ слезъ свѣтится все очарованіе міра и жизнь человѣческая цѣнится какъ жизнь цвѣтка,—нигдѣ нѣтъ того, чтобы простота страданія равнялась возвышенности трагическаго дѣйствія, растворялась въ немъ и могла бы уюдиться послѣднему акту Страстей Христовыхъ, или хотя бы приблизиться къ нему“.

Нельзя не согласиться также съ мыслью Уайльда, что и до Христа, навѣрно, бывали Христіане, но послѣ Христа ихъ больше уже не было, за однимъ лишь исключеніемъ. Этотъ единственный, конечно, Францискъ Ассизскій. Были приближенія къ Христу и къ Христіанству, было безмѣрное множество чудовищныхъ кошмарныхъ его извращеній, все еще длящихся, но, въ цѣломъ, въ точности правъ другой геній 19-го вѣка, соблазнившійся мыслью о Христѣ, — Ницше, сказавшій, что Христіанство умерло съ Христомъ — на крестѣ, который принялъ тѣло Христа.

Тайна одиночества и смерти

.(О творчества Мэтерлинка)

Мы живемъ въ этомъ Мірѣ окруженные отовсюду жестокой непроницаемой тайной. Наша жизнь проходитъ какъ сказка, въ развитіи которой мы участвуемъ всей болью, всей чуткостью нашего существа, но содержанія которой мы не подозреваемъ, и никогда не знаемъ, какой насъ ждетъ конецъ, и гдѣ онъ насъ подстерегаетъ. Въ самую неожиданную минуту мы падаемъ въ обрывъ. Отъ самаго любимаго существа мы получаемъ самый жестокий ударъ. Самая яркая красочная минута внезапно смѣняется плоскимъ кошмаромъ повторности и будней, или грязно-кровавымъ, вихреобразнымъ, удушющимъ кошмаромъ того, что зовется трагической судьбой.

Мы смотримъ вокругъ себя. Мы ищемъ въ Природѣ цвѣтовъ, гармоніи, красокъ, чарующей оправы для тѣхъ драгоценныхъ камней, которые мы называемъ своими лучшими мгновеніями. Но въ то время, какъ мы, съ своей единичной неповторяющейся жизнью, стараемся сдѣлать Природу своимъ средствомъ и своей союзницей, она вдругъ, съ грубостью незрячей силы, съ страшной прямолинейностью

звѣря, живущаго по своимъ, намъ чуждымъ, законамъ, хватаетъ насъ за горло, топчетъ насъ, губить насъ, давить какъ жерновомъ тѣхъ, кого мы любимъ, разрываетъ какъ щипцами кружево нашей мечты, и, оставивъ насъ, во внѣшнемъ и внутреннемъ, калѣками, проходить не замѣчая раздробленныхъ нашихъ жизней, нашихъ смятыхъ златооконовъ, раздавленныхъ тяжелыми копытами.

Мы ищемъ отвѣта въ Міровомъ Разумѣ. Какъ паукъ устремляетъ во всѣ стороны тонкія паутинки, чтобы найти себѣ гдѣ-нибудь точку опоры, прицѣпку для созданія воздушныхъ своихъ дорогъ, мы устремляемся въ пространство всѣмъ тонкимъ, что есть у насъ въ душѣ, мы тянемся, и внизъ, и вверхъ, въ безумныя дали, мы истрачиваемъ на эти безконечныя поиски все, все, что есть въ насъ не-реально-воздушнаго, паутинно-чуткаго и нѣжнаго. Но точки опоры нѣтъ нигдѣ, всюду пропасть, всюду срывъ, всюду скользкая стѣна, на которой нельзя укрѣпиться, пустота, темная, черная, мутно-холодная. И мы безвозвратно уходимъ отъ себя, не приходя ни къ какому пріюту.

Мы инстинктивно цѣпляемся за маленькія радости нашихъ маленькихъ жизней, мы строимъ цѣлый міръ на любви къ одному родному существу, въ его глазахъ видимъ звѣзды, въ его приближеніи чувствуемъ весну, во всемъ его миломъ желанномъ явленіи ищемъ тепла и уютности, солнца, красивыхъ и вѣрныхъ огоньковъ грѣющаго насъ очага. Но Смерть и Болѣзнь входятъ въ наши дома, не

предупреждая насъ, какъ вражескія полчища проходятъ по чужимъ засѣяннымъ полямъ, оставляя за собою лишь взрытую пустыню, срываютъ, сметають какъ циклономъ наши скудныя и робкія построения, и, прежде чѣмъ мы успѣемъ оглянуться, наша жизнь изуродована.

И если тѣлесная смерть и тѣлесныя недуги ужасны и неумолимы, есть что-то еще страшнѣе, нѣчто столь жестокое, что физическая смерть даже дѣлается желанной для обездоленного. Я говорю о двухъ нашихъ дѣмонахъ, которые зовутся непониманіемъ и смертью чувства, умершаго передъ жадными губами другого чувства, которое еще живо, и хочеть, и тянется къ тому, что уже превратилось въ остывшій трупъ.

О чемъ бы мы ни говорили другъ съ другомъ, наши души неслиянны. Одинокимъ человѣкомъ рождается, одиноко онъ живетъ и чувствуетъ, одинокимъ онъ умираетъ. Минутную радость слиянія онъ узнаетъ какъ оазисъ, лишь для того, чтобы съ двойною силой и остротой почувствовать черезъ минуту, что каждая душа идетъ своей дорогой, и когда наши горячія, или похолодѣвшія, руки сжимають одна другую, глаза нашихъ душъ далеко другъ отъ друга, наши души блуждаютъ одиноко въ незримыхъ пустыняхъ, и не медлятъ подолгу въ заблестѣвшихъ нашихъ зрачкахъ, когда шепчуть губы другимъ устамъ нѣжное какъ поцѣлуй слово: „Люблю“.

Любя другъ друга, мы блуждаемъ въ гротахъ

и лабиринтахъ. Мы перекликаемся черезъ стѣны, которыя не разомкнутся. Горячее сердце взываетъ къ другому, въ которомъ бьется алая кровь, но враждебное горное эхо путаетъ слова, мѣняетъ ихъ, подмѣниваетъ, и души не узнають болѣе другъ друга, онѣ больше не узнають самихъ себя, и тамъ, гдѣ флейтой звучать рыданія влюбленности, чужому разуму слышится издѣвающійся хохоть, живые цвѣты шуршатъ какъ искусственные, напѣвныя слова любви дѣлаются мертвыми, какъ глухой неприязненный голосъ, отброшенный сырыми сводами склепа. Это страшный сонъ, когда это только кажется. Что же за боль возникаетъ въ сердцѣ, когда сонъ оказывается неустранимой дѣйствительностью! Когда больше нельзя сомнѣваться! Когда руки, ласкавшія, толкають тебя! Когда глаза, горѣвшіе нѣжностью изъ-подъ сказочно-ласковыхъ рѣсницъ, теперь смотрятъ съ свинцовымъ презрѣніемъ уничтожающей холодности!

Наши тѣла не находятся въ гармоніи съ нашими цвѣточно-нѣжными душами. Наши тѣла — темницы.

Нѣтъ путей отъ мечты къ мечтѣ.

Мы кружимся и ищемъ. Мы кружимся и не находимъ. Мы зажигаемся и гаснемъ. И снова мы кружимся. Опять мы какъ волны. Мы хотимъ достижений. Мы стонемъ и ропщемъ. Мы любимъ и плачемъ. Мы слушаемъ звукъ нашего собственнаго голоса. А Море, въ которомъ мы не болѣе какъ волны, живетъ въ это время своей собственной

жизнью, незримой и непонятной для насъ, радуется безпредѣльно на эти отдѣльныя наши рыданія, ибо они для него сливаются въ одинъ великій гармоническій гулъ, оно живетъ, пока мы умираемъ, оно торжествуетъ, когда мы гибнемъ въ колыханьи и пѣньи Мірового Океана.

Изначально горѣнье Желанья,
А изъ пламени волны повторныя,
И рождаются въ небѣ сіянья,
И горять ихъ сплетенья узорныя.

Неоглядны просторы морскіе,
Незнакомы съ уютомъ и съ жалостью,
Каждый мигъ эти воды другія,
Полны тьмою, лазурностью, алостью.

Имъ лишь этимъ и можно упиться,
Красотою отбѣнковъ различія,
Загораться, носиться, кружиться,
И взметаться, и жаждать величія.

Если жь волны предѣльны, усталы,
Въ безднахъ Міра, стѣной онѣмълюю,
Возникають высокія скалы,
Чтобъ разбиться имъ цѣною бѣлюю.

Ощущенье Смерти и внутренняго Одиночества хорошо знакомы каждому художнику и каждому тонко-чувствующему человѣку, но оно сдѣлалось какъ бы лозунгомъ современнаго художественнаго творчества. Это ощущение, въ драматической формѣ, особенно ярко выразилось у трехъ крупныхъ писателей — Ибсена, Гауптмана, и Мэтерлинка, и у послѣдняго изъ этихъ трехъ оно достигло своей

кристаллизаціи, той законченной отвлеченности и оригинальности, въ которой нѣтъ больше ничего личнаго, случайнаго, временнаго, мѣстнаго. Въ творчествѣ Мэтерлинка мы видимъ ощущение Смерти и Одиночества въ такихъ же красивыхъ и непогрѣшимыхъ формахъ, въ какихъ грезящая звѣздностью зимняя фантазія Природы выражается въ снѣжинкахъ и въ морозныхъ узорахъ.

Въ драмахъ Ибсена, который, несмотря на міровую славу, прожилъ всю свою жизнь одинокимъ,— въ этихъ холодныхъ, полныхъ враждебности, истинно-сѣверныхъ, скалисто-угрюмыхъ панорамахъ,— насъ ежеминутно овѣваетъ жуткое чувство надвигающейся гибели, безпріютность одинокой души, на которую вотъ-вотъ обрушится непомѣрная тяжесть. Зябко-одиноки эти невеселые несчастливцы драмы „Росмерсхольмъ“ или „Дикой утки“. Одинокъ этотъ Брандъ, похожій на горное привидѣніе, и Сольнесъ, падающій съ своей же башни, и безумный Освальдъ, влюбленный въ Солнце, убитый гнетомъ непогоды, и своевольная Гедда Габлеръ, и демоническая Йордисъ, скорбная и безжалостная валькирія, которой тѣсно и душно подъ низкимъ потолкомъ ежедневности.

У автора „Одинокихъ людей“, Гауптмана, это чувство Смерти и несліянности одной души съ другой, быть можетъ, выражается еще сильнѣе. Въ его драмахъ нѣтъ рунической лаконичности гениальнаго Ибсена, но зато здѣсь теплѣе, горячѣе кровь, и нѣжнѣе страданіе. Незабвенна въ своемъ

одинокомъ мученіи эта малютка Ганнеле, которая умѣеть говорить съ ангелами, но не умѣеть говорить съ людьми. Отъ несліянности и непониманія гибнетъ Гейнрихъ въ „Потонувшемъ Колоколѣ“, въ этой поэмѣ, которую пережили не однажды художники-создатели, окруженные грубою толпой, художники, въ самой творческой своей мечтѣ встрѣчающіе лишь измѣнчивую невѣрную сильфу. Одинокое забнеть на стужѣ міровой безжалостности другой Гейнрихъ, бѣдный Гейнрихъ. Гибнетъ Геншель, гибнетъ Крамеръ, гибнуть и сильные и слабые.

Но какъ ни хорошо выражено это безпріютное чувство у Ибсена и Гауптмана, ихъ герои все же слишкомъ много имѣютъ въ себѣ случайнаго, временнаго, областнаго. Съ той точки зрѣнія, съ которой мы разсматриваемъ этихъ драматурговъ сейчасъ, данное свойство есть ущербъ въ творествѣ. Есть минуты, когда для созерцающаго сознанія не убѣдительно норвежское, не убѣдительно нѣмецкое или французское, совсѣмъ не убѣдительно случайное, что могло стать совершенно инымъ при измѣненіи того или другого условія. Мысль глубокая хочеть типовъ и мыслей обобщенныхъ и непреложныхъ, не временнаго, а вѣчнаго, не мѣстнаго, а общечеловѣческаго. Въ этомъ смыслѣ Мэтерлинкъ создалъ совершенно особенный, свой театръ, онъ силой отвлеченія настроеній и образовъ, силой систематическаго устраненія изъ своего творчества реалистическихъ и національныхъ чертъ, сумѣлъ создать эфирно-прозрачный и стройный Театръ

Душъ. Онъ говоритъ за себя и за меня, за васъ, находящихся здѣсь, и за тѣхъ, которые были, которые будутъ въ иныхъ странахъ и въ иныхъ вѣкахъ. Мэтерлинкъ освободилъ цѣлый рядъ драматическихкихъ моментовъ отъ случайныхъ одѣяній и передъ нами—какъ бы пещера со сталактитами, озаренная луннымъ сіяніемъ,—какъ бы горный пейзажъ, среди котораго проходятъ воздушные призраки, говорящіе вѣчныя слова Любви и Смерти,—Искусство, находящееся сродни математическому сознанию, которое мыслить символами и узорностью непреложныхъ чиселъ.

Мэтерлинкъ беретъ Жизнь въ ся основномъ мучительномъ противорѣчїи: человѣческая личность преслѣдуетъ свои цѣли, а Природа, Космосъ, преслѣдуетъ свои, и встрѣча двухъ этихъ теченій, слишкомъ часто враждебная, столкновение двухъ рядовъ цѣлей создаетъ неумную боль въ человѣческомъ сердцѣ. Человѣческому „я“, Европейскому человѣческому „я“, трудно, почти невозможно, на теперешней ступени его развитія, ощущать связь съ Міровымъ Цѣлымъ, и смотрѣть на земную жизнь не какъ на единичное, лишь разъ возникающее явленіе, а какъ на одно звено цѣлаго ряда другихъ, схожихъ, внутренне послѣдовательныхъ, соединенныхъ и блестящихъ звеньевъ, убѣгающихъ въ Безконечность. Человѣческое „я“ со всѣхъ сторонъ ощущаетъ темныя вражескія силы. И въ самомъ себѣ оно видитъ тотъ же Хаосъ, что и во внѣ, ту же разочарованность, ту же многоголосу разъ-

ярность, тѣ же самыя вопли непониманія и узкой обособленности, которые такъ мучительно замѣчать въ звѣринѣ царствѣ. Сонмы различныхъ человѣческихъ „я“ проходятъ въ безконечномъ потокѣ, и сознание съ ужасомъ видитъ, что каждое изъ этихъ „я“ оторвано отъ другого, всѣ они говорятъ на разныхъ языкахъ, и если слова ихъ повторны до кошмарности, все же въ разговорѣ другъ съ другомъ они не понимаютъ другъ друга. Слово рождается въ живой груди, но, пока оно доходитъ до другой живой груди, оно становится мертвымъ. И люди смотрятъ глазами въ глаза, думаютъ, что видятъ другъ друга, а въ это время каждый что-то думаетъ свое про себя, и взоры тонуть въ чужой, не отвѣчающей пустотѣ и темнотѣ.

Самыя близкія наши бываютъ самыми далекими, и, когда намъ дѣйствительно трудно, мы не находимъ ни словъ, ни рѣшимости, чтобы сказать о своемъ, убивающемъ насъ, несчастіи самому дорогому, родному человѣку. Когда дерево подкошено мѣткимъ ударомъ топора, оно, дрогнувъ отъ вершины до основанія, съ чуть слышнымъ трепетнымъ шелестомъ падаетъ на землю. Когда наша душа поражена воистину больнымъ мѣткимъ ударомъ, мы никому объ этомъ не скажемъ, а бросимся въ воду, сбросимся съ высоты на камни, или вбросимъ въ себя ядъ, свинецъ,—и только незримая но зрящая насъ чудовищная Тишина Вещей услышитъ нашъ предсмертный сдавленный стонъ. Здѣсь, во внѣ, происходитъ одно,—тамъ, внутри,

происходить другое. И старый добрый ласковый человекъ, прожившій цѣлую жизнь, думавшій и видѣвшій столько и столько въ теченіе десятковъ лѣтъ, не въ силахъ увидать, что юная дѣвушка, съ которой онъ встрѣчался ежедневно, задыхается отъ нечеловѣческаго мученія, что она сейчасъ, вотъ сейчасъ погибнетъ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, въ то время какъ онъ тупо и спокойно будетъ смотрѣть на ликъ повседневности, а она помутившимся отъ внутренней пытки взоромъ въ послѣдній разъ взглянетъ на Небо, обманувшее ее, не услышавшее ее, оттолкнувшее ее. Родные смотрѣли и не видѣли свѣтлую страдающую душу, и, въ концѣ концовъ, увидятъ только мертвое загрязненное тѣло, которое случайно подобралъ Чужой.

Ту же страшную тупую слѣпоту зрячихъ мы видимъ въ домѣ, куда зашла болѣзнь. Здоровые не могутъ понять больныхъ. Живой никогда не понимаетъ умирающаго. И, чтобъ услышать безшумные шаги той Непрошенной, которую мало кто зоветъ, но которая достовѣрно приходитъ къ каждому, нужно быть ребенкомъ, который еще близокъ къ покинутой имъ для Земли, родной Вѣчности, или мудрымъ старцемъ, который уже умеръ для земного, и слѣпыми глазами глядитъ въ Запредѣльное. Будничные предметы, окружающіе нашу жизнь облекаются, подъ вліяніемъ приближающейся Смерти, таинственностью, полной указующихъ намековъ. они явственно зываютъ къ душѣ, какъ слитный хоръ

предупреждающихъ символовъ. Но, затянутые туманомъ повседневности, опошленные и притупленные отъ прикосновенья плоскихъ, сѣрыхъ будней, мы глупо говоримъ о тысячѣхъ неснужностей, мы рабски цѣпляемся за жалкіе разговоры, мы, какъ летучія мыши, задѣваемъ за предметы, вмѣсто того, чтобы смотрѣть на нихъ издали; не имѣя даже и такихъ крыльевъ, мы ползаемъ, мы тяжки, мы глухи, мы безъ отзвука, безъ искры вдохновенія, мы низимся, клонимся, мы липнемъ къ землѣ. Лунный свѣтъ будетъ странно играть тѣнями. Соловьи оборвутъ свою пѣсню. Лебеди встревожатся на сонномъ озерѣ. Коса будетъ звенѣть, какъ страшный голосъ далекаго, но приближающагося палача. Вѣтеръ будетъ шептать, цвѣты будутъ осыпаться, вѣтка сорвется и упадетъ. Все равно. Мы заняты собой. Мы думаемъ объ обѣдѣ и ужинѣ, о какихъ-то будто бы родныхъ и знакомыхъ, которые чужды намъ и невѣдомы намъ, мы думаемъ о часахъ, видя лишь внѣшній ихъ ликъ, и ни мало не разумѣя рокового голоса текучихъ мгновений. Мы думаемъ здоровымъ своимъ тѣломъ о потребностяхъ своего тѣла, и отвратительная глухота наша не почувствуетъ, что вотъ, въ эту самую минуту, бессмертная душа покидаетъ насъ.

Да, мы—слѣпые. Одни -- ослѣпшіе отъ убогой своей жизни, или отъ слишкомъ долгихъ напрасныхъ исканій. Другіе—слѣпороджденные, окруженные вѣчной темнотой, не видѣвшіе ни разу даже

Ту узко-тонкую полоску,
Тоть голубой узоръ,
Что, узники, зовемъ мы Небомъ,
И въ чемъ нашъ весь просторъ.

Мы на безпріютномъ островѣ, который отовсюду окруженъ враждебнымъ Моремъ, расшатавшимъ всѣ наши устои, и грозящимъ послѣдней выси нашихъ, когда-то достовѣрныхъ, вершинъ. Нашъ вожакъ, нашъ богъ и священнослужитель, на котораго мы привыкли возлагать въ скудномъ своемъ убожествѣ всѣ наши надежды, исчезъ. Мы о немъ говоримъ, мы его еще ждемъ, хотя и безъ радости любящаго ожиданія. А онъ уже умеръ, и въ двухъ шагахъ отъ беспомощныхъ слѣпцовъ—еще болѣе беспомощный трупъ,—воплощенье святости, которая была маякомъ, а теперь, въ самую трудную минуту, стала лишь остывшею тяжестью. Наша старая, изношенная повторностью, жизнь, посѣдѣвшая подъ дыханьемъ все одного и того же, похожа на древній сѣверный лѣсъ, гдѣ стволы убѣгаютъ въ недоступную для насъ высь, и качаются, какъ исполинскія привидѣнія, подъ небомъ, такого же вѣчнаго вида, глубоко звѣзднымъ, усѣяннымъ планетами, до которыхъ намъ не дотянуться ни взоромъ ни мечтой. Тотъ, который велъ насъ и былъ намъ защитой, застывши сидить у дуплистаго дуба, огромнаго дуба, но съ полостью пустоты и изношенности внутри. Умершій близъ полуумершаго дерева не слышитъ ни воплей, ни призывовъ. И мы надѣемся на его глаза, мы часемъ въ нихъ пути къ успокоенію. А

эти нѣмые глаза уже не смотрятъ больше на зримую сторону Вѣчности, къ которой мы прикованы, какъ тѣни прикованы къ предметамъ. Эти глаза потухли и кажутся окровавленными отъ чрезмѣрнаго множества великихъ скорбей. Старые слѣпцы и слѣпые старцы. Они сидятъ на камняхъ и обрубленныхъ пняхъ. Ихъ отдохновеніе—сырая земля и увядшіе листья. Ихъ единственная слабая отрада—присутствіе женщинъ, которыя по природѣ своей болѣе нѣжны и утонченны, болѣе понимающыи. Но и женщины слѣпы. Притомъ же они отдѣлены отъ тѣхъ, кто стремится къ нимъ, мертвымъ деревомъ съ вырванными корнями, и обломками скалы. И три изъ нихъ шепчутъ и молятся, все время бормочутъ невнятные слова, эти угрюмыя Парки, сплетающія нить Жизни и обрѣзающія ее, эти сѣверноунылыя Норны минувшаго, настоящаго, и будущаго. Онѣ призрачно молятся и сѣтуютъ около Безумной слѣпой, которая воплощаетъ въ себѣ роковую неизбѣжность жизни и рожденія, Безумной, которая любитъ рожденнаго ею ребенка, но сумасшедшимъ мозгомъ и надорваннымъ сердцемъ предвидитъ, какія пытки ждутъ новорожденнаго, и потому раздражается дикими воплями, когда ей нужно кормить своей грудью эту новую жертву гнетущаго насъ Фатума. Всѣ эти женщины страшны какъ слѣпые безглазые кошмары, какъ посѣдѣвшія тѣни, какъ духи придорожной ветлы, которую бьетъ непогода. Лишь одна изъ нихъ, Юная, еще не разлюбившая цвѣты и не растратившая сердце, сама прекрасна

какъ цвѣтокъ, и будить въ чужихъ сердцахъ воздушныя мысли, исполненныя звѣздности.

Непривѣтный міръ, жестокая земля, угрожающее море, опадающіе листья, обездоленность, оброшенность, темнота, тоска.

Вся наша жизнь—точно тяжелый Замокъ, въ которомъ чуткость устала томиться.

Глубокіе рвы. Подъемные мосты.
Высокія стѣны съ тяжелыми воротами.
Мрачные покои, гдѣ сыро и темно.
Высокіе залы, гдѣ гулки такъ шаги.
Стѣны съ портретами предковъ непривѣтныхъ.
Пяльцы, чтобъ ткань все ту же вышивать.
Узкія окна. Внизу --подземелья.
Зубчатая башни, ихъ стѣрыя цвѣты.
Стѣрыя ихъ цвѣты, тяжелыя громады.
Что тутъ дѣлать? Сегодня какъ вчера.
Что тутъ дѣлать? Завтра какъ сегодня.
Что тутъ дѣлать? Завтра какъ вчера.
Только и слышишь, какъ воетъ вѣтеръ.
Только и помнишь, какъ ноетъ сердце.
Только взойдешь на вершину башни.
Смотришь на дальнюю даль горизонта.
Тамъ, далеко, страны другія.
Здѣсь все тѣ же лѣса и долины.
Тамъ, далеко, новое что-то.
Здѣсь все тѣ же равнины и горы.
Замокъ, замокъ, открой мнѣ ворота,
Сердце больше не можетъ такъ жить!

Гдѣ же выходъ и есть ли выходъ изъ этого гнетущаго царства Смерти и духовнаго Одиночества?
Выходъ есть, и мы можемъ его найти.

Великій ужасъ нашей жизни происходитъ, въ слишкомъ значительной степени, отъ ложной мысли, которая зовется великой Ересью отдѣльности. Это—наша Европейская мысль—мысль единичности жизни, и несвязанности человѣческой судьбы съ Міровымъ Узоромъ. Мы думаемъ, что мы живемъ лишь однажды. Въ данной формѣ, съ такимъ вотъ ликомъ, конечно мы живемъ въ цѣлой Вѣчности лишь разъ. Но, не теряя тождественности своего истиннаго внутренняго „я“, мы въ дѣйствительности живемъ не одинъ разъ и не на одной планетѣ, а воплощаемся много разъ и постепенно проходимъ различныя ступени великой восходящей Лѣстницы, ведущей насъ къ нескончаемой Гармоніи.

Великій ужасъ нашей жизни заключается также въ томъ, что мы тяжки и грубы, когда мы можемъ быть легкими и иѣжно-воздушными. Мы топчемъ цвѣты, которыхъ не видимъ. Мы даже оспариваемъ ихъ существованіе. Мы глупо шепчемся, когда звучитъ музыка. Мы заняты собой, когда предъ нами радость красиваго явленія. Мы не любимъ красоты въ себѣ, и гнетемъ красоту въ другихъ. Мы охотно миримся съ самымъ плоскимъ, съ самымъ ничтожнымъ, а потомъ мы же задыхаемся въ духотѣ, создаваемой нами. Мы не хотимъ утончать нашу душу и расширять міръ нашего сознанія. Мы не взращаемъ раскидистыхъ деревьевъ и иѣжныхъ растений, съ сіяніями похожими на звѣзды. Мы не лелѣемъ ту прозрачность, которая временами возникаетъ даже въ самомъ грубомъ чело-

вѣкъ. Если бы мы захотѣли, мы съ этой самой секунды стали бы счастливые и красивѣе:

Если мы остаемся слѣпцами и глухонѣмыми даже въ любви, и передъ лицомъ царственно-прекрасной красоты Природы и серафически-прекрасной красоты Женщины,—все же предъ Красотою и подъ лучомъ Любви въ насъ порой просыпаются боги.

Извѣстное одиночество—неотъемлемая принадлежность человѣческой души, въ силу самаго понятія личности, какъ чего-то отдѣльнаго. Но, когда мы утончаемъ нашу душу, это одиночество, оставаясь печальнымъ, дѣлается красивымъ, какъ хрустальный замокъ изо льда. Если мы обвиняемъ нашу душу съ Красотою, самая боль будетъ для насъ наслажденіемъ, наши слезы будутъ какъ капли утренней росы и капли вечерней росы въ чашахъ золотистыхъ цвѣтовъ.

Первый слѣпорожденный въ драмѣ Слепыхъ говоритъ, что голосъ мѣняется, когда мы смотримъ на кого-нибудь пристально. Не только голосъ, но и весь нашъ духовный обликъ мѣняется, когда мы смотримъ на что-нибудь пристально, и не только въ зеркальность бросаемъ мы свое отраженіе, но и отъ зеркальности воспринимаемъ внушенія, и, заглянувши въ глубокій колодець, или въ серебряныя воды озера, мы идемъ дальше съ углубленнымъ взглядомъ и съ воздушной серебристостью грезъ въ душѣ.

Если мы будемъ душой своей смотрѣть на гармонию, мы конечно осуществимъ ее въ нашей жизни.

Жалкіе слѣпцы, занятыя своекорыстно своимъ тяжкимъ страданіемъ, глухо и упорно повторяютъ: „Мы слышимъ только запахъ земли“. Но Юная слѣпая, еще прекрасная и вольная, потому что сердце ея открыто для Красоты, говоритъ: „Я слышу запахъ цвѣтовъ вокругъ насъ“. И твердо вѣря, что крикъ новой жизни не только жалкій вопль, но и зовъ идти впередъ, къ чему-то лучшему, я повторяю съ этой красивой Юной слѣпой: „Есть цвѣты, есть цвѣты вокругъ насъ!“

Символизм народных повѣрій

(З а м ѣ т к а)

Положительный разумъ-разсудокъ такъ называемаго образованнаго общества можно сравнить съ плоской скучной равниной, по которой тянутся монотонныя проѣзжія дороги, правильными линиями идутъ желѣзнодорожныя рельсы, а тамъ и сямъ на приличномъ разстояніи красуются дымящіяся фабрики и докучныя заводы, на которыхъ въ духотѣ и тѣснотѣ ступѣвшіе человѣки производятъ для эфемернаго бытія фальшиво-реальныя цѣнности, элементарныя полезности тусклыхъ существованій.

Народный разумъ-воображеніе, фантазія простолюдина, не порвавшаго священныя узы, соединяющихъ человѣка съ Землей, представляетъ изъ себя не равнину, гдѣ все очевидно, а запутанный смутный красивый лѣсъ, гдѣ деревья могучи, гдѣ въ кустарникахъ слышатся шопоты, гдѣ змѣятся подъ вѣтромъ и солнцемъ болотная осока и протекаютъ освѣжительныя рѣчки, и серебрятся озера, и цвѣтутъ цвѣты, и блуждаютъ стихійные духи.

Этимъ свѣжимъ дыханіемъ богатой народной фантазіи очаровательно вѣетъ со страницъ проник-

новенной книги С. В. Максимова „Нечистая, невѣдомая и крестная сила“ (Спб. 1903): Царь-Огонь, Вода-Царица, Мать-Сыра-Земля—какъ первобытно-радостно звучать эти слова, какъ сразу здѣсь чувствуется что-то пышное, живое, царственное, ритуальное, поэзія міровыхъ стихій, поэзія двойственныхъ намековъ, заключающихся во всемъ, что относится къ міру Природы, играющей нашими душами и тѣлами и дающей намъ, чрезъ посредство нашего всевоспринимающаго мозга, играть ею, такъ что вмѣстѣ мы составляемъ великую вселенскую Поэму, окруженную лучами и мраками, лѣсами и перекличками эхо.

Въ красочныхъ существенныхъ строкахъ Максимова, владѣвшаго какъ никто великорусской народной рѣчью, передъ нами встанетъ наша „лѣсная и деревянная Русь, представляющая собою какъ бы неугасимый костеръ“, эта страна, взлелѣянная пожарами и освященная огнемъ. „По междурѣчьямъ, въ дремучихъ непочатыхъ лѣсахъ врубился топоръ... проложилъ дороги и отвоевалъ мѣста... на срубленномъ и спаленномъ лѣсѣ объявились огнища или пожого, онѣ же новины, или кулиги—мѣста, пригодныя для распашки“. Русскій человѣкъ выжигалъ дремучіе лѣса, чтобы можно было выточить о землю соху и сложить золотые колосья въ снопы. Онъ выжигалъ ранней весной или осенью всѣ пастбища и покосы, чтобы старая умершая трава, „ветошь“, не смѣла мѣшать расти молодой и чтобы

сгорали вмѣстѣ съ ветошью зародыши прожорли-
выхъ насѣкомыхъ, вплоть до плебейски-многолюд-
ной и мѣщански-неразборчивой саранчи.

Огонь очистительный,
Огонь роковой,
Красивый, властительный,
Блестящій, живой.

Этотъ многоликій Змѣй становится эпически
безмѣрнымъ и изступленно-страшнымъ, когда ему
вздумается развернуться во всю многоцвѣтную ши-
рину своихъ звеньевъ. Лѣтописи исторіи хранятъ
воспоминаніе объ одномъ изъ такихъ зловѣщихъ
праздниковъ Огня, разыгравшемся въ 1839-мъ году
въ знаменитыхъ Костромскихъ лѣсахъ. Написавшій
книгу о Невѣдомой Силѣ видѣлъ этотъ праздникъ
самъ. Солнце потускнѣло на безоблачномъ небѣ,
это—въ знойную пору іюля, называемую „верхуш-
кою лѣта“. Воздухъ превратился въ закопченное
стекло, сквозь которое свѣтилъ кружокъ изъ крас-
ной фольги. Лучи не преломлялись. Въ ста верстахъ
отъ пожарища носились перегорѣлые листья, за-
тлѣвшій мохъ и хвойныя иглы. Пляска пепла на
версты и версты. Цвѣта предметовъ измѣнились.
Трава была зеленовато-голубой. Красныя гвоздики
стали желтыми. Все, что передъ этимъ было ли-
кующе-краснымъ, покрылось желтизной. Дождевая
капли, пролетая по воздуху, полному пепла, прини-
мали кровавый оттѣнокъ. „Кровавый дождь“, гово-
рилъ народъ. По лѣснымъ деревнямъ проходилъ

Ужась. Женщины шли себѣ саваны, мужчины надѣвали бѣлыя рубахи, при звукахъ молитвъ и при шопотахъ страха изступленнымъ ихъ глазамъ чудился ликъ Антихриста. Вой урагана. Движеніе раскаленныхъ огненныхъ стѣнъ, плотная рать съ мѣткимъ огненнымъ боемъ. Скрученные жаромъ, пылающія ланы, оторванные бурей отъ вспыхнувшихъ елей. Синія, красныя, мгlistыя волны дыма. Завыванье волковъ, рокотанье грома, перекличка захмѣлѣвшаго Огня, воспламененный діалогъ Неба и Земли. А послѣ, когда пиръ этотъ кончился? Залпы и взрывы, зубчатые строи лѣсныхъ великановъ, съ крутими жаромъ вѣтвями, мгновенно-исчезающіе смерчи пламени, которое взметется—и нѣтъ его, все это явило свою многокрасочность, и новую картину создастъ творческая безжалостность Природы. Пламя садится, и смрадъ, не сжигаемый имъ, чадить, ѣстъ глаза, стелется, ластится низомъ во мракъ. Только еще пламенѣють, долго и чадно горять исполинскія груды вѣтроломныхъ костровъ, вѣроломныхъ костровъ, что были такими сейчасъ еще свѣтлыми, а теперь ссѣдаются, рушатся, выбрасываютъ вверхъ искряные снопы, и, умирая, опрокидываются.

Русскіе крестьяне издавна привыкли почитать „небесный огонь“, снисшедшій на землю не разъ въ видѣ молніи. Но они почитаютъ также и земной „живой огонь“, „изъ дерева вытертый, свободный, чистый и природный“. На Сѣверѣ, гдѣ часты па-

дежи скота, этотъ огонь добываютъ всѣмъ міромъ среди всеобщаго упорнаго молчанія, пока не вспыхнетъ пламя. Всякій огонь таинствененъ, онъ возбуждаетъ благоговѣніе, и при наступленіи сумерекъ огонь зажигаютъ съ молитвой. Черта, заставляющая вспомнить о Парсахъ-огнепоклонникахъ, ясно ощущавшихъ міровую связь земного огня съ огнемъ многозвѣздныхъ небесныхъ свѣтильниковъ. „Освященный огонь“ воплощается въ свѣчахъ. Вѣничальная свѣча, пасхальная, богоявленская, четверговая, даже всякая свѣча, побывавшая въ храмѣ и тамъ пріобрѣтенная, обладаютъ магической силой: онѣ уменьшаютъ муки страдающихъ, убиваютъ силу недуговъ, онѣ—врачующія и спасающія.

Многосложно и благоговѣйно отношеніе народа и къ другой міровой стихіи, парной съ Огнемъ, Водѣ. Много разсѣяно по широкой Руси цѣлебныхъ родниковъ и святыхъ колодцевъ, порученныхъ особому покровительству таинственной святой Пятницы. Вода цѣлебна и очистительна. Въ этомъ Славяне сходятся съ Индійцами, христіане сходятся съ магометанами. Вода притягиваетъ къ себѣ тѣла и души своєю осѣжающею глубиной. Первый дождь весны обладаетъ особыми чарами, и цѣлой толпою, съ непокрытыми головами, съ босыми ногами, выбѣгаетъ деревенскій людъ подъ свѣжіе потоки, когда впервые послѣ зимняго сна и зимней мглы небо прольетъ свѣтоносную влагу. Есть чары и въ рѣч-

ной водѣ, только что освободившейся отъ льда. Старики и дѣти и взрослые спѣшатъ соприкоснуться съ ней. Вода помогаетъ при домашнихъ несчастяхъ: нужно только просить „прощенія у воды“. Вода является магическимъ зеркаломъ на Святкахъ, и дѣвушка можетъ увидать въ ней свое будущее. Черезъ воду колдуны могутъ послать на недруга порчу. Стихіи властны, многообразны, многосложны, и многоцвѣтны. Поговорка гласитъ: „Водѣ и огню Богъ волю далъ“.

Что наиболѣе возбуждаетъ народную фантазію изъ всего, находящагося на землѣ, на Матери-Землѣ, это,—конечно, таинственный лѣсъ, какъ бы символизирующій все наше земное существованіе сложной своей запутанностью. Крайне любопытна эта способность народнаго воображенія индивидуализировать растенія, усматривать въ нихъ совершенно разнородные лики. Какъ есть священныя деревья, исполненныя цѣлительной силы, есть также деревья, прозванныя „буйными“. Они исполнены силы разрушительной. Съ корня срубленное и попавшее между другими бревнами въ стѣны избы, такое дерево безпричинно рушитъ все строеніе, и обломками давитъ на смерть хозяевъ. Какъ не вспомнить слова одного изъ героевъ Ибсена: „Есть мѣсть въ лѣсахъ“. „Стоять лѣса темные отъ земли и до неба“—поютъ слѣпые старцы по ярмаркамъ. Да, отъ земли и до неба мы видимъ сплошной дремучій лѣсъ, и что мы иное, мы, сознающіе, и пости-

гающіе, какъ не слѣпцы на людскомъ базарѣ. „Только птицамъ подѣ стать и подѣ силу трущобы еловыхъ и сосновыхъ боровъ. А человѣку, если и удастся сюда войти, то не удастся выйти“.

Все странно, все страшно здѣсь. Рядомъ съ молодою жизнью—деревья, „приговоренныя къ смерти“, и уже гниющія въ сердцевинѣ, и уже сгнившія сплошь, въ моховомъ своемъ саванѣ. Здѣсь вѣчный мракъ, здѣсь влажная погребная прохлада среди лѣта, здѣсь движенія нѣтъ, здѣсь крики и звуки пугаютъ сознание и чувство, здѣсь деревья трутся стволами одно о другое и стонутъ, скрипятъ, старѣютъ, и становятся дуплистыми, растутъ, умножая лѣсную тьму. Здѣсь живетъ путающій слѣды и сбивающій съ дороги геній чаши,—Лѣшій. Но Лѣшій—все же не Дьяволъ, онъ кружитъ, но не губитъ, и въ мѣстахъ иныхъ его просто именуютъ „Лѣсъ“, прибавляя поговорку: „Лѣсъ праведенъ,—не то, что Чортъ“.

Странный духъ этотъ Лѣшій, въ глазахъ его зеленый огонь, глаза его страшны, но въ нихъ свѣтъ жизни, въ нихъ угли живого костра и въ нихъ изумрудъ травы. Обувь у него перепутана, лѣвая пола кафтана запахнута за правую, рукавицы надѣнетъ—и тутъ начудитъ, правую надѣнетъ на лѣвую руку, а лѣвую на правую. Правое и лѣвое перепутано у Духа Жизни, любящаго сплетенныя вѣтви и пахучіе лѣсные цвѣты. И во всемъ онъ путанникъ, не то, что другіе. Домовой всегда домовой, и ру-

салка не больше какъ русалка. А онъ любитъ и большое и малое, и низкое и высокое. Лѣсомъ идетъ,—онъ ростомъ равняется съ самыми высокими деревьями. Выйдетъ для забавы на лѣсную опушку—ходить тамъ малой былинкой, тонкимъ стебелькомъ, подъ любымъ ягоднымъ листочкомъ укрывается. Ликъ у него отливаешь синеватымъ цвѣтомъ: ибо кровь у него синяя, и у заклятыхъ на лицахъ всегда румянецъ, такъ какъ живая кровь не переставая играетъ въ нихъ и поетъ цвѣтовыя пѣсни. Онъ и самъ, какъ его кровь, умѣетъ пѣть какъ бы безгласно: у него могучій голосъ, но нѣмотствующій, и онъ умѣетъ пѣть безъ словъ. Такъ онъ проходитъ по чащѣ, не имѣя тѣни, зачаруетъ человѣка, зашедшаго въ лѣсъ, околдуетъ, обойдетъ, заведетъ, напуститъ въ глаза тумана и заставитъ слушать хохоть и свистъ и ауканье, затащитъ въ болото, и безъ конца, безъ конца заставитъ крутиться на одномъ и томъ же мѣстѣ.

Любопытно, что у лѣшихъ есть заповѣдный день, 4-е октября, когда „лѣшіе бѣсятся“,—въ этотъ день они „замираютъ“. Передъ этимъ, въ экстазѣ неистоваго буйства, они ломаютъ деревья, учиняютъ драки, гоняютъ звѣрей и, въ концѣ концовъ, проваливаются сквозь землю, сквозь которую суждено проваливаться всякой нечистой силѣ; но, когда земля весной отойдетъ и оттаеетъ, Духъ Жизни тутъ какъ тутъ, чтобы снова начать свои продѣлки, „все въ одномъ и томъ же родѣ“. Любопытно также, что

Лѣшему дана одна минута въ сутки, когда онъ можетъ сманить человѣка. Но какъ властны чары одного мгновенья, быстрой смѣны шестидесяти секундъ, или того даже менѣе. Человѣкъ послѣ этого ходитъ одичалымъ, испытывая глубочайшее равнодушіе ко всему людскому, не видитъ, не слышитъ, не помнитъ, живетъ—окруженный лѣсною тайной.

Въ лѣсныхъ чащахъ великой Россіи разбросаны небольшія, но глубокія озера, наполненныя темной зачарованной водой, окрашенной желѣзистой закисью. Тамъ подземные ключи, которые пробиваются, уходятъ и переходятъ. Углубленія озерного дна имѣютъ форму воронки и говорятъ о Мальстремѣ. Въ другихъ озерахъ видны подземныя церкви и подводные города. На зыбкихъ берегахъ, поросшихъ пахучими цвѣтами съ сочно-клейкими стеблями, вѣетъ что-то сокровенное, слышенъ звонъ подземныхъ колоколовъ, достойные видятъ огни зажженныхъ свѣчъ, на лучахъ восходящаго Солнца—отраженныя тѣни церковныхъ крестовъ. Тамъ и сямъ ясно чувствуются подземныя рѣки, слѣды ихъ ощущаешь черезъ провалы, носящіе названіе „глазниковъ, или „оконовъ“. Межъ земляныхъ пустотъ опять выступаютъ небольшія озера. И большія озера. И глубокія. И озера-моря. И морскія пространства. Тамъ въ хрустальныхъ палатахъ сидятъ Водяные. Свѣтятъ имъ серебро и золото. Свѣтитъ имъ камень-самоцвѣтъ, что ярче Солнца. И они никогда не умираютъ, а только измѣняются съ перемѣнами

Луны. И они пируютъ. Сзываютъ на пиръ и ближнихъ и дальнихъ родичей, собираютъ жителей омутовъ и ведутъ азартныя игры.

А кругомъ—лѣса шумятъ, растутъ, густые, поднимаютъ весенній гулъ, бросаютъ въ воздухъ многослитность голосовъ, звѣриныхъ и дьявольскихъ, и безъимянныхъ, существующихъ одно лишь мгновенье; но единымъ всплескомъ звуковымъ касающихся сразу до всѣхъ отзывныхъ струнъ души, лѣса говорятъ, лѣсъ растетъ отъ земли до неба и звучно поютъ о немъ слѣпцы.

Флейты изъ человѣческихъ костей

(Славянская душа текущаго мгновенья)

Dwie są bowiem melancholie: jedna
jest z mocy, druga ze słabości; pier-
wsza jest skrzydłami ludzi wysokich,
druga kamieniem ludzi topiących się.
Słowacki. Anelli.

I

На одномъ изъ острововъ Тихаго океана—Великаго океана—въ закатный часъ вечера я слушалъ музыку флейтъ. Надо мною были высокія четкія пальмы, съ вѣтрами раскидистыхъ листьевъ, трепетавшихъ отъ вѣтра, который налеталъ и улеталъ. Кругомъ было много сплетенныхъ, цѣпкихъ, другъ друга душащихъ растений, возникающихъ другъ изъ друга, отгѣняющихъ другъ друга, умерщвляющихъ другъ друга. Въ Небѣ было то расплавленное воздушное золото, которое возникаетъ лишь на нѣсколько мгновеній передъ смертью дня, тѣ морскіе изумруды, которые можно видѣть въ Небѣ лишь на линияхъ пресѣченія между половиной и половиной Земли. Шаръ Солнца не былъ видѣнъ, но миѣ казалось, что, уходя за воды Океана, онъ долженъ былъ походить въ тѣ минуты на огромный странно-измѣненный, печальный Мѣсяць, на свѣтило

двойственныхъ Небесъ, подобно тому, какъ царевна Мексиканскаго неба, Вечерняя Звѣзда, загораясь огромнымъ серебрянымъ ликомъ, одновременно углубляетъ день и ночь и, будучи вечернимъ свѣтиломъ, звалась у Ацтековъ—отшедшее Солнце.

Волны Моря равномерно ударялись о пески, золотые пески передъ тѣмъ, какъ стать сѣрыми. Волны Моря точили пески и рождали стоустый гулъ, кончавшійся шипѣніемъ и шопотомъ. Но надъ этими звуками и мгновеннымъ Безмолвіемъ, легче и выше, какъ пѣна легче волнъ, печалилась свѣтлая музыка флейтъ. Въ этихъ звуковыхъ рыданьяхъ упорно повторялся одинъ и тотъ же напѣвъ. Онъ начинался съ самыхъ нѣжныхъ красокъ чувства, съ полупрозрачныхъ намековъ чего-то убѣгающаго; онъ возросталъ, умножаясь въ журчаньяхъ; пѣлъ, говорилъ, упрекалъ, убѣждалъ, изъ ручья, изъ ручьевъ становился потокомъ; дѣлался громкимъ, звенящимъ, грозящимъ; водонадно шумѣлъ; доходилъ до крика, и, дойдя до кричащихъ угрозъ, вдругъ упадаль съ звуковыхъ высотъ; и музыка на время прерывалась; только послѣдними жалобами, то тутъ, то тамъ, погасали брызги мелодіи, точно разорвалось ожерелье—и все еще падали послѣднія жемчужины.

Печальные люди съ бронзовыми лицами, на которыхъ тускло свѣтилось воспоминаніе, —память, перемѣшанная съ отчаяніемъ надежды, —люди въ бѣлыхъ одѣяніяхъ, подобныхъ саванамъ, сидѣли вкругъ костра, и это они создавали напѣвъ, исторгая звуки изъ флейтъ. Во всемъ этомъ, во всемъ,

что ихъ окружало, была странность противорѣчія. Въ Небѣ было воздушное золото и расплавленные изумруды, а люди съ бронзовыми лицами смотрѣли не на нихъ, но на красное пламя костра, съ его дымной невѣрностью. На островѣ флейтъ Природа являла всю роскошь возможностей, но среди высокихъ деревьевъ и среди цвѣтовъ, раскрытыхъ какъ губы, ютились жалкіе шалаши, гдѣ было тѣсно и скудно. Только одна высокая башня, круговая башня на холмѣ, казалась бы прекрасной, если бъ она не походила такъ на призракъ тюрьмы, и если бы не такъ сыто, пресыщенно, смотрѣли съ нея черные ряды разнѣженныхъ коршунувъ. И четкія пальмы, съ вѣтрами ихъ листьевъ, лиловыя орхидеи, свисавшія съ деревьевъ, огненные лепестки пламецвѣта, все говорило о знойной странѣ, но флейты пѣли о Сѣверѣ, пѣли о Сѣверѣ, и я слышалъ свистъ мятели, я видѣлъ бѣлоствольныя березы, о которыя бьется взметенный снѣгъ, видѣлъ сосны, широкія ели, тосковалъ въ безконечной зимѣ.

Почему эти флейты такъ странно звучать? Отчего ихъ видъ такъ причудливъ? Почему въ достиженіи звуковыхъ вершинъ такъ явствененъ крикъ убитого? Отчего эти флейты бѣлѣютъ въ густѣющихъ сумеркахъ?

Я всталъ съ своего мѣста и подошелъ къ людямъ, бывшимъ у костра. Я могъ говорить на ихъ языкѣ. Временами, когда я блуждаю, я могу говорить со всѣми, на любомъ языкѣ—какъ тѣ, кто одержимъ Дьяволомъ.

Я спросилъ людей съ темными лицами, кто они, что они, о чемъ повторно поеть ихъ долгая пѣсня, какая странная, какая "страшная чара въ ихъ бѣлѣющихъ флейтахъ. Они мнѣ отвѣтили.

„Откуда мы родомъ—мы сами не знаемъ. Нашихъ отцовъ заманили сюда и бросили. Мы вѣчно тоскуемъ о дальнемъ. Насъ завлекли, завели, обманули. Мы отовсюду окружены Тайной. Мы отовсюду скованы Моремъ, и у насъ нѣтъ кораблей. Мы служимъ врагамъ, которые живутъ вонъ тамъ, подъ охраною круговой башни. И, когда кто-нибудь изъ насъ посмотритъ яснѣй, чѣмъ другіе, его отмѣчаютъ, его окружаютъ, его уводятъ въ высокую башню, оттуда еще мы слышимъ зовъ его голоса, потомъ Человѣкъ-Свѣтловзоръ погасаетъ, его тѣло бросаютъ коршунамъ, его кости бросаютъ намъ, мы изъ нихъ дѣлаемъ флейты и поемъ нашу боль и надежду“.

„Да, у насъ есть надежда“, сказалъ одинъ изъ нихъ. „Ибо двѣ есть печали: одна—отъ силы, другая—отъ слабости; первая—крылья людей высокихъ, вторая—камень людей утопающихъ“.

И одинъ за другимъ каждый сказалъ свое слово.

„Бѣдный народъ“, промолвилъ одинъ, „одно лишь величье мы знаемъ, величье неволи“.

„Сколькіе умерли, сколькіе умерли“, промолвилъ другой.

„Къ чему стремиться? Повсюду насъ ночь обойметъ“, былъ еще голосъ.

„Мы крики, мы стоны“, былъ еще голосъ. „Мы отсвѣты раковинъ“.

„Мы съ тѣми, что проиграли, играя въ судьбы“.
„Намъ снятся солнца безъ блеска, грядущіе боги въ оковахъ, моря, доннынѣ еще не названныя, вѣчно текущія къ счастливымъ берегамъ“.

И одинъ воскликнулъ безумно: „Я родомъ невольникъ, но духомъ мститель“.

И другой воскликнулъ безумно: „Я сплю, я вижу, есть путь, хоть длинный. Скитаюсь всюду, взбираюсь всюду, на концы свѣта, гдѣ поютъ ангелы“.

И раздался голосъ: „Если нѣтъ свободы, унасъ есть амулеты—амулетъ мести, драконить“.

„Месть—улада боговъ“, закричалъ самый дальній.

И всѣ закричали, склоняясь одинъ къ другому, такъ что лицъ ихъ не было видно: „Пой и проклинай“.

„Уйди—или пой и проклинай“, закричали они мнѣ, какъ изступленные, и музыка флейтъ зазвучала оиять, отъ самаго нѣжнаго звука до страшнаго вопля убитаго. Отъ костра на мое лицо упалъ красный отсвѣтъ. Я отступилъ отъ нихъ. Я вспомнилъ свой Сѣверъ, я понялъ, что въ это самое время тамъ рождается красное Солнце разсвѣта, и съ отчаяньемъ бросился на землю.

2

Я вернулся на Сѣверъ, не мыслью одною, но также и тѣломъ. Я сталъ своимъ со своими, сѣвернымъ съ Сѣверомъ, съ Русскими Русскимъ. Нѣтъ,

ужь скажу—Славянинъ со Славянами. Славянинъ, это слово—свѣтлѣе, звучнѣе, и больше вмѣщаетъ въ себя. Въ этомъ словѣ не только есть сила:— грозная сила, смягчаясь, приобрѣтаетъ въ немъ вѣчный характеръ. Грубость откинута въ немъ, преобразенною. Къ лдяному Сѣверу протянулся Югъ, румяныя ленты разсвѣта и заката перекинулись въ немъ отъ Востока и до Запада, на плоскихъ равнинахъ выросли горы, вѣчныя, снѣжныя, глубокия, обрывистыя; между сѣрыми лицами возникли свѣтлыя; бронзовыя лица стали красотой; суша обнялась съ текучею влагой; зашумѣло кругземное Море; мысль Коперника коснулась Земного Шара; блеснули рыцарскіе мечи; заиграла музыка; тонко затрепеталъ воздушный польскій танецъ; развернулась улыбочивость вѣжливой мазурки; заиграла музыка, музыка флейтъ.

Съ дѣтскихъ дней до Русскаго слуха доходили вкрадчивыя звуки Польской рѣчи, замирали, слабѣли, снова доходили, скоро возникнуть вкрадчиво и властно, вкрадчиво, но властно. Братъ и Сестра были долго въ разлукѣ. Они должны соединиться. Разлука создать ложныя мысли, ложныя чувства, ложныя продольности пространства и фантази. Все это гибнетъ отъ блеска лучей. Братъ и Сестра устремятся другъ къ другу въ первый же мигъ Свободы.

Польская рѣчь—энергія ключа, который взрываетъ горы. Русскій языкъ—разлитіе степей, развернутость вольныхъ равнинъ. Гордая бронзовая

музыка согласныхъ — влажная протяжная мелодія гласныхъ — два языка, Польскій и Русскій — два великихъ теченья Славянской рѣчи.

Когда звучитъ вдали Польская рѣчь, Русскій слухъ жадно прислушивается: — „Вѣдь это мой родной языкъ? Вѣдь это говорятъ по-русски? Нѣтъ, постой. Что-то есть еще. Я понимаю и не понимаю. Въ простое вмѣшалось таинственное. Не говорилъ ли я самъ такъ, когда-то, давно-давно? Мы были вмѣстѣ — потомъ я ушелъ“.

О, въ этой встрѣчѣ есть странная прелесть — грустная пѣснь разлуки и свиданья.

Польскій языкъ учитъ Русскую рѣчь силѣ: онъ есть энергія. Тамъ, гдѣ они совпадаютъ, они одинаково сильны, или соперничаютъ съ вѣчной побѣдой и безъ поражения, будучи оба содружно красивы: Тамъ, гдѣ они разошлись, въ протяжныхъ звукахъ Русской рѣчи слышится мягкость серебра, въ судорожно-сжатыхъ порывахъ Польской рѣчи слышатся вскрики желѣза и бронзы. Русскій скажетъ: „Вѣтеръ“. Полякъ молвитъ: „Wiatr“. Русскій промолвитъ: „Ничего“. Полякъ броситъ: „Nic“. Русскій крикнетъ: „Къ оружію“. Полякъ отзовется: „Do broni“.

Намъ, Русскимъ, нуженъ Польскій языкъ, ибо онъ учитъ мести. Учитъ силѣ. Быстротѣ.

Русскимъ нужна Польская душа. Ибо Польскія судьбы велики и печальны, красивы и безумны. Онѣ учатъ разбѣгу морского вала, безстрашію замысла, твердости въ самомъ паденьи — за паденьемъ до дна есть возстанье изъ мертвыхъ.

Величіе жертвы—источникъ всемірной безсмертной Красоты. Чѣмъ туча темнѣе, тѣмъ страшнѣе гроза, тѣмъ ярче расцвѣты цвѣтовъ и деревьевъ въ опьяняюще-свѣжемъ воздухѣ.

Я вернулся на Сѣверъ. Это было осенью. Золотой Сентябрь слился съ вольнымъ дыханьемъ Октября, съ бодрящей его свѣжестью. Золотая осень поблѣднѣла, стала сѣрой, въ потускнѣнны смѣшались въ ней грязь и кровь, завывали выюги, и былъ дикій Декабрь. Мимо меня проходили толпы, мимо меня проходили солдаты, мимо меня пронесли трупы, мимо меня пронеслись побѣдные вскрики смѣлыхъ, быстро смѣнившись хохотомъ наглыхъ и стопами раненыхъ. Ликъ Человѣка измѣнился и надолго сталъ ликомъ Звѣря. Нѣсколько дней свободы для честныхъ и пристыженности—подлыхъ смѣнились разгульностью наглаго варварства, какого, миѣ кажется, еще не было нигдѣ. Колесо Времени совершило свой полный кругъ, комья грязи сорвались съ него, и мысль опять вступила въ младенчество, вмѣсто—словъ былъ лепетъ, вмѣсто быстрыхъ и стройныхъ движеній—были судорожныя хватанья и отвратительность цѣпляющихся рукъ. Младенчество дряхлости. Не свѣтлый ребенокъ, а мерзкій Коцеѣй. Сказка. Живыя сказки. И, слыша въ душѣ замиранія флейтъ, я измѣненнымъ голосомъ шепталъ.

Я съ ужасомъ теперь читаю сказки,
Не тѣ, что всѣ мы знаемъ съ дѣтскихъ лѣтъ,
О, нѣтъ, живую боль въ ся огласкѣ
!Презъ страшный шорохъ утреннихъ газетъ.

Мерещится, что вышла въ кругъ, снова,
Вся нежить, тѣхъ столѣтій темноты,
Кровь льется изъ Бориса Годунова,
У схваченныхъ ломаются хребты.

Рвутъ крючьями языкъ, глаза и руки,
Въ разорванный животъ втыкають шестъ,
По воздуху, въ почкахъ, крадутся звуки,
Смѣхъ вора, вопль захнанныхъ невѣсть.

Средь бѣла дня на улицахъ видѣнья,
Бормочуть что-то, шепчуть въ пустоту,
Разстрѣлы тѣль, душъ темныхъ искривленья,
Самъ Дьяволъ на охотѣ. Чу! „Ату!

„Ату его! Руби его! Скорѣе!
Стрѣляй въ него! Хлещи! По шеѣ! Бей!“
Я падаю. Я стыну, цѣпенѣя.
И я ихъ братъ? И быть среди людей!

Постой. Гдѣ я? Избушка. Чьи-то ноги.
Кость человѣчья. Это для Яги?
И кровь. Идутъ дороги все, дороги.
А! Вотъ она. Кто слышитъ? Помогите!

Мысль изнемогала. Въ воспоминаніи дрожали
дыханья свободнаго Моря и лепестки пламецвѣта,
а рядомъ — какая-то безумная дьявольская игра.
Паутина на мозгѣ. Черныя птицы колдуютъ. Вороны. Помню.

Черные вороны, вора играли надъ нами.
Каркали. День погасалъ.
Темными снами
Призракъ наполнилъ мнѣ блѣдный бокаль.
И, обратившись лицомъ къ погасающимъ зорямъ,

Пилъ я, закрывши глаза,
 Видя сквозь блѣдныя вѣки дороги съ идущимъ и вѣдущимъ стор-
 бленнымъ Горемъ,
 Вороны вдругъ прошумѣли какъ туча, и вмгъ разразилась
 Словно внезапно раскрылись обрывы. [гроза.
 Выстрѣлы, крики, и воли, и взрывы.
 Гдѣ вы, друзья?
 Странный бокаль отъ себя оторвать не могу я, и сказка моя
 Держитъ меня, поблѣднѣвшаго, здѣсь, заалѣвшими снами—цѣ-
 Мысли болятъ. Я, какъ призракъ, застылъ. [пямя.
 Двинуться, крикнуть нѣтъ воли, нѣтъ силъ.
 Каркаютъ вороны, каркаютъ черныя, каркаютъ злыя надъ нами.

Какъ душныя испаренія Мареммъ окутываютъ
 мозгъ чадомъ и создаютъ бредъ лихорадокъ, съ
 ихъ уродствомъ и съ ихъ смертельною, такъ въ
 нашихъ Сѣверныхъ болотахъ возникли удушающіе
 пары, поднялись изъ низинъ своихъ, распростра-
 нились, разошлись, расползлись, отвратительные,
 какъ насѣкомыя, какъ гады, какъ удавъ, какъ спрутъ.
 Отѣлись человѣческимъ мясомъ. Изъ безсильныхъ
 тѣней стали толстыми, жирными. Насѣли на горло
 и сердце людей. Укрѣпили свои скользкіе петвер-
 дые лики. Вѣдьмы-Лихорадки. Тринадцать Сестеръ.
 Тресуницы, что пляшутъ подъ страшную музыку.
 Вѣдома намъ ихъ пляска. Наша Славянская „Danse
 Macabre“.

Сестры, Сестры, Лихорадки,
 Поземельный взбитый хоръ.
 Мы въ Аду играли въ прятки.
 Будеть. Кверху. Безъ оглядки.
 Порадѣть хоръ Сестеръ.

Мы остудимъ, распростудимъ,
Разогрѣемъ, разомнемъ:
Мы проворны, ждать не будемъ.
Сестры! Сестры! Кверху! Къ людямъ!
Вотъ, мы съ ними. Ну, начнемъ.

Цѣпко, крѣпко, Лихорадки,
Снова къ играмъ, снова въ прятки.
Человѣкъ — забава намъ.
Сестры! Сестры! По мѣстамъ!
Всѣ тринадцать съ краснобаемъ.
Гдѣ онъ? Живъ онъ? Начинаемъ.

Ты, Тряся, дай ему
Потрястись, понавъ въ тюрьму.

Ты, Огня, боль продли,
Прахъ Земли огнемъ пали.

Ты, Ледея, такъ въ ознобъ
Загни, чтобъ звалъ онъ гробъ.

Ты, Гнетя, дунь на грудь,
Камнемъ будь, не дайдохнуть.

Ты, Грудя, на груди
Лишку, вдвое погоди.

Ты, Глухая, плюнь въ него,
Чтобъ не слышалъ ничего.

Ты, Ломя, кости гни,
Чтобы хрустнули они.

Ты, Пухня, знай свой срокъ,
Чтобъ распухъ онъ, чтобъ отекъ.

Ты, Желтя, въ свой чередъ,
Пусть онъ, пусть онъ расцвѣтеть.

Ты, Корчea, вслѣдъ иди,
Ручки, ноженьки сведи.

Ты, Глядея, встань какъ бѣсъ,
Чтобы сонъ изъ глазъ исчезъ.

Ты, Сухea, онъ ужь плохъ,
Сдѣлай такъ, чтобъ несь изсохъ.

Ты, Ненea, всѣмъ сестра,
Пропляши ему „Пора“.

Въ Человѣкъ нѣтъ догадки.
Цѣпки, крѣпки Лихорадки.
Всѣхъ Сестеръ тринадцать насъ.
Сестры! Книзу. Конченъ часъ.

Я усталъ быть участникомъ и зрителемъ этой
инфернальной пляски. Я плясалъ и плясалъ и пля-
салъ. Я кружился до бѣшенства, до изступленья.
Я плясалъ до отчаянья, дико, до боли, до смерти.
Я упалъ. И снова я въ комнатѣ. Не на кладбищѣ,
нѣтъ, въ своей комнатѣ. Вотъ, я касаюсь стѣны,
я касаюсь постели, я сижу у стола. Забыться. По-
быть съ поэтами. Они вѣдь чаруютъ. Они зачаруютъ
отчаянье. Ихъ строки танцуютъ, скользятъ, уба-
киваютъ.

Я раскрылъ „Праздникъ мертвыхъ“, „Dziady“,
Мицкевича. Странныя строки открылись: — „Вам-
пиръ“.

„Serce ustalo, pierś już lodowata,
Schły się usta i oczy zawarły:
Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata;
Cóż to za człowiek? Umarły“.

(„Upior“),

Это звучит по-русски похоже:—

Сердце устало, грудь уж льдомъ одѣта,
Стиснуты губы, очи— въ скрытой тризнѣ;
Все еще на свѣтѣ, но уж не для свѣта:
Кто жь [человѣкъ тотъ? Умершій. Безъ жизни.

Не хочешь ли быть такимъ? спросила насмѣшливо мысль. Ихъ много,—такихъ умершихъ, отвернувшихся, въ жизни безъ жизни живущихъ. Покойно.

Я перевернулъ страницу. Я смѣшалъ все страницы. И въ поэмѣ „Konrad Wallenrod“ я увидѣлъ слова: „Ty milczysz? Śpiewaj i przeklinaj!“—„Ты молчишь? Пой и проклинай!“ Въ душѣ задрожали звуковыя рыданья. Спуталось разное вмѣстѣ, какъ это бываетъ во снѣ. Заиграла музыка флейты. И въ „Праздникѣ мертвыхъ“ я нашелъ дьявольскій танецъ—вѣжливую мазурку Польской рѣчи—пѣснь Польскаго узника.

Какому бѣ злу я ни былъ отданъ,
Рудникъ, Сибирь,—о, пусть. Не зря
Я буду тамъ: я вѣрнопопданъ,
Работать буду для Царя.

Куя металлъ, вздымая молотъ,
Во тьмѣ, гдѣ не горитъ заря,
Скажу: пусть тьма, пусть вѣчный холодъ,
Топоръ готовлю для Царя.

Татарку выберу я въ жены,
Татарку, въ жены, говоря:
Быть можетъ, выношень, какъ стоны,
Родится Палень для Царя.

Когда въ колоніяхъ я буду,
Я огородъ себѣ куплю,
И каждый годъ, повѣри чуду,
Лень буду сѣять, коношию.

Изъ коноши сметутся нити,
Въ нихъ серебро мелькнетъ, горя,
Къ нимъ, можетъ, честь придетъ -- о, ждите:
То будетъ шарфомъ для Царя.

Эту пѣсню поетъ Феликсъ, польскій мученикъ
русскаго варварства, забитый въ тюрьму, одна изъ
безчисленныхъ жертвъ того звѣря Самодержавія,
который осуществилъ нашъ давнишній кровавый
Декабрь, достойный праотецъ позорнаго ничто,
безъмяннаго, безликаго, но умѣющаго съ точностью
вскрывать жилы-- другимъ. И, услышавъ эту пѣсню,
другой узникъ, Конрадъ, запѣваетъ другую, а
хоръ ему подхватываетъ. Эта другая пѣсня безумна,
какъ вскрикъ челоуѣка замученнаго. Вотъ, онъ
сейчасъ умретъ, вотъ ужъ онъ умираетъ, но кри-
чить, говорить, хочетъ высказать все до конца,
успѣеть, успѣеть сказать.

Пѣснь моя ужъ въ могилѣ была, ужъ холодной,
Кровь почувала, вотъ, изъ земли привстаетъ,
Смотритъ вверхъ, какъ вампиръ, крови ждущій, голодный,
Крови ждетъ, крови ждетъ, крови ждетъ.
Мишенья, мишенья! Гдѣ врагъ, тамъ берлога.
Съ Богомъ, пусть даже, пусть и безъ Бога!

Пѣснь сказала: пойду я, пойду ввечеру.
Буду грызть сперва братьевъ, имъ дума моя,

Тотъ, кого я когтями за душу беру,
Пусть вампиромъ предстанеть, какъ я.
Мищеня, мищеня! Гдѣ врагъ, тамъ берлога,
Съ Богомъ или хотя бы безъ Бога!

Мы потомъ изъ врага выпьемъ кровь будемъ пить.
Его тѣло разрубимъ потомъ топоромъ,
Его ноги намъ пужно гвоздями пробить,
Чтобъ не встать, какъ вампиръ, съ жаднымъ сномъ.

И съ душою его мы пойдемъ въ самый Адъ,
Всѣ мы разомъ усядемся тамъ на псе,
Чтобъ безсмертье ся удушить, о, сто кратъ,
И пока будетъ жить, будемъ грызть мы'ея.
Мищеня, мищеня! Гдѣ врагъ, тамъ берлога.
Съ Богомъ пусть даже, пусть и безъ Бога!

„Конрадъ, ради Бога, остановись!“ кричить испуганный одинъ изъ узниковъ. „Эта языческая пѣснь!“— „Какъ онъ ужасно смотритъ!“ восклицаетъ другой. „Это сатанинская пѣснь!“ Но Конрадъ продолжаетъ пѣть, подъ звуки смѣющейся, плачущей флейты— „съ товариществомъ флейты“, какъ примѣчаетъ Мицкевичъ.

Я взношусь, я лечу, на вершину скалы,
Я высоко надъ родомъ людскимъ,
Между пророковъ.
Я грядущаго грязно-чернѣющій дымъ
Расторгаю, разрѣзавши саваны мглы
Окомъ своимъ,
Для того чтобы выявить свѣтъ сибиллинскихъ уроковъ.

Я опять смѣшалъ страницы, и увидѣлъ слова,
миѣ слишкомъ извѣстныхъ:—

„Бѣдный народъ! какъ мнѣ жаль твоей доли:
Одно лишь геройство ты знаешь — геройство неволи“.

И я прикоснулся къ другому Славянскому поэту, Зигмунту Красинскому, и въ его „Иридионъ“ прочель: „Я родомъ невольникъ, но духомъ мститель“ („Irydion“, Wstep). И въ его „Неоконченной Поэмъ“ прочель: „Съ тѣми, что проиграли, играя въ судьбы, вѣчно я—ибо они должны быть безнадежны—ибо имъ нуженъ я“. („Niedokończony Poeemat“). И въ его „Небожественной Комедии“ я прочель: „Скитаяюсь всюду, взбираюсь всюду,—на концы свѣта, гдѣ поютъ ангелы („Nie-boska Komedja“).

Гдѣ же маякъ въ этихъ скитаніяхъ? Что влечетъ эту душу изгнанника идти и идти? Кто зоветъ его? И печальный Красинскій отвѣтилъ: „Солнца безъ блеска, грядущіе боги въ оковахъ, моря донинѣ еще не названныя, вѣчно текущія къ счастливымъ берегамъ“. („Irydion“, IV). И, какъ дальнее эхо, донеслось: „Еще твои прадѣды пѣли, что месть есть услада боговъ“ (ib., III).

И я понялъ, что двѣ есть печали: одна—какъ крылья, другая—какъ камень. Я отбросилъ книги поэтовъ, и, вспомнивъ, что душа—крылатая, сказала себѣ: „Загляни теперь въ свою душу“.

3

Я взглянулъ въ колодець души, и, ощутивъ бездонность, почувствовалъ безмѣрное одиночество. Передо мной прошло все то, чѣмъ я могу жить

какъ я, какъ одинъ, или вдвоемъ, или втроемъ. Жить, наслаждаясь умно и утонченно. Независимо отъ времени—и временно выдвигаемыхъ явленій. Независимо отъ стиснутыхъ чудовищъ, составляющихъ массу, людей, человѣчество. Не одинъ ли я? Одинъ вхожу я въ міръ, одинъ изъ него выхожу— пусть и тутъ и тамъ у меня есть провожатые— одинъ я, одинъ, одинъ. Взглянуть на все такъ— сквозь призму, художникъ вѣдь я, любовникъ, любимый, поэтъ, познающій, всегда познающій, всегда созерцающій, въ самой вспышкѣ вулкана, кипящей вотъ тутъ въ груди, сохраняющій свѣтлую сферу видѣнія, видѣнья. Богъ цвѣтовъ. Богъ зеркальности. „Любови!“ зазвучали струны. „Люби!“ зарыдали свирѣли. И вдругъ чей-то шопоть и смѣхъ. Шопоть насмѣшки. Моя поблѣднѣвшая душа говорила съ чьей-то блѣдною дрогнувшей душой. Вѣчный онъ говорилъ, и съ нимъ вѣчная, его, она. Я былъ въ моряхъ ночей.

„Прощай, мой милый!“ „Милая, прощай!“
 Замкнулись двери. Два ключа пропѣли.
 Дверь шепчетъ двери: „Что же, конченъ Май?“
 „Какъ Май? Ужь дни октябрьскіе присѣли!“

Стукъ, стукъ. „Кто тамъ?“ „Я, это я, Мечта.
 Открой!“ Стукъ, стукъ. „Открой. Луна такъ свѣтитъ“.
 Молчаніе. Недвижность. Темнота.
 На зовъ души какъ пустота отвѣтить!

„Прощай, мой милый! Милый! Ха! Ну, ну,
 Еще въ ней остроумія довольно“.

Онъ милой назвалъ? Вспомнилъ онъ весну?
Пойти къ нему? Какъ бьется сердце больно!

Стукъ, стукъ. — „Кто тамъ?“ — Молчаніе. Темно.
Стукъ, стукъ. — „Опять! Закрыты плохо ставни“ —
Въ моряхъ ночей недостижимо дно,
Нѣтъ въ мірѣ власти мигъ вернуть недавній.

Изъ тонкихъ ли нитей, изъ этихъ ли нитей, ко-
торыя рѣжутъ такъ больно, сплету я цвѣтные узоры
забавъ, скручу воздушную лѣстницу? Оборвешься,
тонки они слишкомъ, тонки и удавны. И красивы
узоры паутины подъ Солнцемъ, красивы они подъ
Луной, хотя бы осенней. Но подъ дождемъ? Но въ
душной комнатѣ? Но въ тѣсной комнатѣ, гдѣ пыльно,
слишкомъ пыльно? Злой смѣхъ возникъ въ душѣ
мсей. На подобномъ пиршествѣ — быть не хочу. Бо-
каль любви, лети. Какъ тонко звенить хрусталь,
когда его разбиваешь!

Я бросилъ весело бокаль.
Ребеночъ звонко хохоталъ.
Спросилъ его: Чего онъ такъ?
Сквозь смѣхъ онъ молвилъ мнѣ: Чудакъ.

Бокаль любви разбилъ, но вновь
Захочешь пить, любить Любовь.
И въ тотъ же мигъ о, какъ мнѣ быть?
Я захотѣлъ любить и пить.

Куски я съ полу подобралъ.
Изъ нихъ составилъ вновь бокаль.
Но, весь израненный, я вновь
Не сладость пилъ, а только кровь.

И, захотѣвъ любить одну любовь, я увидѣлъ себя блѣднымъ, съ закрытыми глазами, съ слишкомъ красными губами. Такіе бываютъ вампиры. подумалъ я, и самъ самому себѣ сталъ нестерпимо тягостенъ.

Полюбить своего ребенка, подумалъ я съ нѣжностью. И мнѣ стало легко. Видѣть измѣненія милого лица, ребенка, который, какъ облачко, мѣняется каждый мигъ, участвовать въ его измѣненіяхъ. И вдругъ съ ясностью я увидѣлъ, какъ дѣтское лицо превратилось въ холодное что-то и каменно-враждебное. Я увидѣлъ, какъ ребенокъ, который былъ мой и котораго я цѣловалъ, небрежно вскочилъ и убѣжалъ къ цвѣтамъ, въ садъ, гдѣ мотыльки, въ садъ, къ краснымъ цвѣтамъ. И я былъ одинъ. Я увидѣлъ, какъ ребенокъ мгновенно превратился въ стройнаго юношу, зажигательно-смѣлаго и безразсуднаго. Юноша досадливо что-то крикнулъ мнѣ, уходя. Я былъ у окна, а онъ на волѣ. Онъ ушелъ, веселый, къ юнымъ. Тамъ былъ смѣхъ и безумныя рѣчи. Были выстрѣлы, кровь была, но юныя лица были счастливы, и ни одинъ не жалѣлъ о семьѣ своей. И я чувствовалъ, какъ въ глубинѣ, здѣсь въ груди, что-то больно порвалось. И я былъ одинъ. Я увидѣлъ, какъ ребенокъ, все одинъ и тотъ же, принималъ безконечныя лики. Но всѣ они уходили отъ меня. Я слышалъ страшныя слова: „Ты мертвый. Безъ жизни“. И ни одинъ не хотѣлъ быть со мной. Я увидѣлъ, какъ ребенокъ превратился въ старика. Старикъ былъ сухъ, былъ трусливъ, и

разсчитливъ. Онъ страшно походилъ на ребенка и съ ребяческой безжалостностью тупо бормоталъ: „Не научилъ меня, не научилъ быть безразсуднымъ, всю жизнь я разсчитывалъ, жизнь и просчиталъ. Ты виноватъ, ты во всемъ виноватъ“. И въ злыхъ глазахъ уже была смерть, а старческія губы вдругъ покраснѣлись и залепетали проклятiя. И я былъ одинъ. А подъ окномъ взростали красныя цвѣты. Изъ тьмы, изъ отчаянья, изъ осенней грязи, изъ зимнихъ холодовъ.

Полюбить Искусство. Безумный, или не знаешь, вѣдь холодный мраморъ любить горячую руку ваятеля. Онъ любитъ разсчетъ и сознательность высшихъ чиселъ, управляющихъ судьбами Мiра, а не скудную низость разсчета тѣхъ чиселъ, въ которыхъ считанiя малаго дня. Мраморъ тебя изуродуетъ, если ты измѣнникъ предъ собой. Краски твои заржавѣютъ, если нѣтъ въ твоемъ сердцѣ горячихъ капель. Ты можешь любить Искусство, если даже ты будешь позорнымъ. Но Искусство все видитъ. Оно не полюбитъ тебя. Въ горлѣ твоемъ будетъ вкусъ желчи, и ты будешь напрасно жадать.

Быть въ минувшихъ мiрахъ? Но минувшее было текущимъ мгновеньемъ, горящимъ, кипящимъ, зовущимъ, вбирающимъ. Потому-то оно такъ плѣнительно въ самой застылости, лавы. Правдивость мгновенья есть достовѣрность Вѣчности. Если ты хочешь быть живымъ, будь съ кипящею лавой, съ кровавою лавой, съ подземнымъ краснымъ расцвѣтомъ Земли, который рвется наружу.

Я былъ одинъ. Въ окно глядѣла ночь. О чемъ бы не начиналъ я думать, все кончалось красными цвѣтами. Гдѣ-то далеко свѣтился пожаръ. Ужь скоро ночь кончится, подумалъ я. Скоро—заря. И душа безсильно заплакала:—

Зоря-Зоряница,
Красная Дѣвица,
Красная Дѣвица, полуночница.
Красныя губы,
Бѣлые зубы,
Свѣтлыя кудри, свѣтлоочница.
Всѣ ли вы, Зори,
Въ красномъ уборѣ,
Съ кровавыми лентами, рдяными?
Вѣчно ли крови,
Встарн и зновн,
Розамн быть надъ туманами?
Зоря-Зоряница,
Красная Дѣвица,
Будь ты моею защитою,
Отъ вражескй силы,
До временной могилы,
И отъ жизни тоскою повитою.
По какому нитью,
Рудожелтою нитью,
Ты иглой золотою, проворною,
Вышиваешь со славой,
Пеленою кровавой,
Свои узоръ надъ трясинною черною?
Чудо-Дѣвица,
Зоря-Зоряница,
Зоря-Зоряница прекрасная,
Хочется ласки,
Мягкости въ краскѣ,

Будеть ужь, искрилась красная.
Нить, оборвись,
Кровь, запекись,
Будеть намъ, ужь будетъ этой алости.
Или ты, Зоря,
Каждый день горя,
Такъ и не узнаешь нѣжной жалости?

4

Я заснулъ глубокимъ сномъ. Ночь была темна.
Я какъ бы пересталъ существовать. Переоплотился
въ свои сновидѣнья. Былъ со многими. Былъ мно-
гими.

Мнѣ снилась безмѣрная страна, до боли доро-
гая мнѣ. Мѣсяць свѣтилъ, и вся она точно была
окутана саваномъ. Страна вѣкового безмолвія. Ве-
ликій океанъ схороненныхъ надеждъ.

Въ этой странѣ скрывался въ далекомъ лѣсу
Великанъ, который, чтобъ мучить другихъ, лишилъ
себя сердца, и спряталъ его, какъ кровавый комокъ,
въ невѣдомомъ мѣстѣ. Живя безъ сердца, онъ могъ
пробивать чужія сердца, исторгать изъ нихъ кровь,
не испытывая ни колебанія ни сожалѣнія. Живя
безъ сердца, онъ былъ безобразнымъ и все раз-
ростался чудовищной мерзостной тушей, но не ви-
далъ своего безобразія. И минутами, сонной мысли
казалось, что, если такъ долго еще онъ будетъ
рости, пробивая сердца, онъ упрутся ногами въ
одинъ океанъ, онъ упрутся головою въ другой, и
шуточнымъ станетъ самое Небо.

По волѣ того Великана безчинствовали, въ печальной безмѣрной странѣ, безликіе призраки, принимавшіе въ разныхъ мѣстахъ, для собственныхъ цѣлей, различные образы, и одѣвались они въ различность всякихъ одеждъ. Всѣ они были палачи и душители, но въ одномъ мѣстѣ казалось, что это—военные, въ другомъ, что это — священники, въ третьемъ—купцы, и много еще бессмысленно-лживыхъ, кощунственно-подло-обманныхъ было одеждъ. Призраки всюду вели свои хороводы. Разгульный шабашъ возникалъ. Тѣни расцѣплялись, снова сцѣплялись, какъ летучія мыши, отвратными гроздьями висящія въ углахъ старыхъ домовъ. Тѣни даже какъ будто говорили. Обѣщались, увѣряли, убѣждали, уговаривали. Потомъ хватали волчьими зубами, разрывали въ куски человѣческое мясо, и, напившись крови, прекращали теченіе призрачныхъ сновъ, садились рядкомъ, какъ совы на оwinѣ садились рядкомъ, и душѣ, возмущенной уродливостью кошмара, было ясно видно, что различныя одежды дьявольскаго маскарада не обнимаютъ никакихъ точныхъ тѣлъ—лишь раздуты мареномъ, отдѣльны отъ всего человѣческаго, пусты, пусты—только гдѣ-то тутъ и тамъ шатко проходятъ безликіе призраки, какъ будто что-то подслушиваютъ—не живетъ ли Земля, не живые ли люди живое что говорятъ—шархнутъ въ быстромъ испугѣ — задвигается пугало одеждъ—и снова и снова.

А Великанъ тупо смѣется, и, разростаясь въ призрачномъ величій, тоже двигаетъ и языкомъ и

руками. Говорить и дѣлаетъ. Но, что-нибудь сказавъ, дѣлаетъ наоборотъ.

Я лежалъ, пригвожденный сномъ. Все зналъ, все видѣлъ, крикнуть хотѣлъ — не было голоса, двигаться не могутъ онѣмѣвшіе члены — я лежалъ, подъ бѣлѣющимъ Мѣсяцемъ, какъ снѣжная глыба на снѣжной равнинѣ, протянувшейся въ самую безконечность.

Безмѣрная печальная страна, послѣ шабаша вѣдьмъ и оборотней, была объята великимъ покоемъ Смерти. Но льдины гдѣ-то ломались, и звонъ ихъ доходилъ до Небесъ. И гдѣ-то съ холмовъ обрывались тяжелыя залежи снѣговъ, и гулъ ихъ подобенъ былъ грохоту Моря, отгѣняя звенящія разламыванья льдовъ.

Я былъ и не былъ. Я видѣлъ село, занесенное снѣгомъ. Вдругъ оно стало лѣтнимъ, весеннимъ, не знаю — какимъ. Женщина, которую какъ будто я зналъ, женщина, которую я назвалъ бы родной, которую я назвалъ бы Родиной, — такъ мнѣ она была мучительно-дорога, — одна не спала въ этомъ спящемъ, рано уснувшемъ, вечернемъ селѣ. И она говорила, а мнѣ казалось, что это не она говоритъ, а ива, серебряная ива шелеститъ надъ водой неуловимо-воздушно.

Я мать и я люблю дѣтей.

Едва зажжется Мѣсяць, серповидно,

Я плачу у окна.

Мнѣ больно, страшно, мнѣ мучительно-обидно.

За что такая доля мнѣ дана?

Зловѣщій прудъ, погость, кресты,
Мнѣ это все отсюда видно,
И я одна.
Лишь Мѣсяцъ свѣтитъ съ высоты.
Онъ жнетъ своимъ серпомъ? Что жнетъ? Я брежу. Полно.
Будь твердой. Плачь, но твердой нужно быть. [Стыдно.
Отъ Неба до Земли, сіяя,
Идетъ и тянется первущаяся нить.
Ты мать, умѣй, забывъ себя, любить.

Да, да, я мать, и я дурная,
Что не умѣла сохранить
Своихъ дѣтей.
Ихъ всѣхъ сманила въ прудъ Колдунья злая,
Которой правится сводить съ ума людей.
Тихонько ночью приходила,
Когда такъ крѣпко я спала,
Мой сонъ крѣпко, дѣтей будила,
Какая въ ней скрывалась сила,
Не знаю я. Весь міръ былъ мгла.
Своей свѣчой она свѣтила,
И въ прудъ ея свѣча вела.
Чѣмъ, чѣмъ злодѣйка ворожила,
Не знаю я.
О, съ тѣми, кто подъ сердцемъ былъ, разстаться,
О, жизнь несчастная моя!

Лишь въ мысляхъ иногда мы можемъ увидаться,
Во снѣ.

Но это все—не все. Она страшнѣй, чѣмъ это.
И казнь безжалостнѣй явила Вѣдьма мнѣ.
Вонъ тамъ, въ сіяньи мѣсячнаго свѣта,
Въ той люлькѣ, гдѣ качала я дѣтей,
Когда малютками они мои были,
И каждый былъ игрушкою моею,

Предъ тѣмъ, какъ спрятался въ могилѣ
И возросли плакунъ-траву,
Лежитъ подмѣнышъ злой, уродливый, нескладный,
Котораго я нежитью зову,
Свирѣпый, колченогій, жадный,
Глазастый, съ страшною распухшею головою,
Ненасытно-плотоядный,
Подмѣнышъ злой.

Чуть взглянетъ онъ въ окно и листь березы вянетъ,
Шуршитъ недобрый вихрь желгьющей травой, -
Вдругъ схватить дудку онъ, играть безумно станеть,
И молнія въ овини грянетъ,
И пляшетъ все кругомъ, какъ въ пляскѣ хоровой,
Несутся камни и полѣнья,
Подмѣнышъ въ дудку имъ дудить,
А люди падаютъ, въ ихъ сердца онѣмѣнье,
Молчать, блѣднѣють страшный видъ.
А онъ глядитъ, глядитъ стеклянными глазами,
И ничего не говорить.
Я не пойму, старикъ ли онъ,
Ребенокъ ли. Онъ гѣшится надъ нами.
Молчить и ѣсть. Вдругъ тихій стонъ.
И жутко такъ раздастся голосъ хилый:
„Я старъ, какъ древній лѣсъ!“
Повѣтеть въ воздухѣ могилой.
И точно встанеть кто. Мелькнулъ, прошелъ, исчезъ.

Однажды я на странное рѣшилась:
Убить его. Жить стало нестерпнѣе.
За что такая мнѣ немилость?
Убрать изъ жизни эту гнилость!
И вотъ я заточила ножъ.
А! какъ сегодня ночь была, такая,
На небѣ Мѣсяць всталъ серпомъ.
Онъ спалъ. Я подошла. Онъ спалъ. Но Вѣдьма злая
Слѣдила въ тайности, стояла за угломъ.

Я не видала. Я надъ нимъ стояла.
Я только видѣла его.
Въ моей душѣ горѣло жало.
Я только видѣла его.
И жажду тѣшила нѣмую: —
Вотъ эту голову, распухшую и злую,
Отрѣзать, отрубить, чтобы исчезъ наукъ,
Притихъ во мракѣ гробовомъ.
„Исчезнешь ты“! И я ударила ножомъ.
И вдругъ
Не тѣло предо мной, мякина,
Солома, и въ соломѣ кровь,
Да, въ каждомъ стеблѣ кровь и тина.
И ночь я на пруду. Трясина.
И въ домѣ я опять. И вновь
Бѣлѣть Мѣсяцъ серповидно.
И я у моего окна.
Въ углу подмѣныша мнѣ видно.
Тамъ за окномъ погость. Погость. И я одна.

Мой сонъ измѣнился. Въ вѣтрѣ промчались возгласы:— „Мщенья! Мщенья!“ Нельзя оставлять чудовищъ безъ кары. Нельзя имъ давать, своимъ бездѣйствіемъ, совершать, вновь и вновь, злодѣянія. Нужно овладѣть чудовищами, понять, и уничтожить ихъ. И, если нельзя возстановить погубленнаго, нужно, во что бы то ни стало, мстить, отмстить губящему. Я видѣлъ себя идущимъ и рѣшительнымъ.

Жить было душно. Совсѣмъ погибала я.
Въ лѣсъ отошла я, и Лиха искала я.
Думу свою словно тяжесть несу.
Шелъ себѣ, шелъ и увидѣлъ въ лѣсу
Замокъ желѣзный. Кругомъ черепа, частоколомъ.

Что то я въ замкѣ найду?

Можеть, такую бѣду,

Что навсегда позабуду, какъ можно быть въ жизни веселымъ.

Все же иду

Въ замокъ желѣзный.

Вижу, лежитъ Великанъ.

Видь у него затрапезный.

Тучень онъ, грязень и наглъ, и какъ будто бы пьянь.

Кости людскія для мерাকাго—ложе.

Лихо! Вокругъ него—Злыдни, Журьба.

А по угламъ, вокругъ стола, по стѣнамъ, вмѣсто сидѣній, гроба.

Лихо. Ну, что же?

Я Лиха искалъ.

Страшное Лихо, слѣное.

Подчуеть гостя. „Поѣшь-ка“. Мнѣ голову мертвую даль.

Взялъ я ее—да подь лавку. Лицо усмѣхнулось тупое.

„Скушалъ“? спросилъ Великанъ.

„Скушалъ“. Но Лихо ужъ знало, какая споровка

Тѣхъ, кто въ бѣсовскій заходитъ туманъ.

„Гдѣ ты, головка-мутовка“?

„Здѣсь я, подь лавкою, здѣсь“.

Жаромъ и холодомъ я преисполнился весь.

„Лучше на столъ ужь, головка-мутовка,

Скушай, голубчикъ, ты будешь—самъ будешь—вкуснѣй“.

Въ эту минуту умножилось въ мѣрѣ число поблѣднѣвшихъ людей,

Поднялъ я мертвую голову—спириталь на сердцѣ. Уловка

Мнѣ помогла. Повторился вопросъ и отвѣтъ.

„Гдѣ ты, головка-мутовка“?

„Здѣсь я, подь сердцемъ“.—„Ну, съѣдена, значить“, подумала дуракъ-людоѣдъ.

„Значить, чередъ за тобой“, закричало мнѣ Лихо.

Бросились Злыдни слѣныя ко мнѣ, зашаталась слѣная Журьба

Въ нежитей черепомъ тутъ я ударилъ—и закипѣла борьба.

Бились мы. Падалъ я. Билъ ихъ. Убилъ ихъ. И въ замкѣ желѣзномъ вдругъ сдѣлалось тихо.

Вольно вздохнулъ я. Да здравствуетъ воля—понявшаго чудищъ—раба.

Мой сонъ пробудилъ меня, и я открылъ глаза. Ночь была по-прежнему темна. Но на стѣнахъ моей комнаты дрожали красные отсвѣты. Это далекій пожаръ усилился, и его зарево доходило до меня. Не тревогу, а радость возбудила во мнѣ мысль, что пожаръ усиливается. Я былъ въ заклѣтомъ городѣ, гдѣ мучаютъ и убиваютъ. Каждый домъ былъ злой домъ. Каждый домъ былъ черный домъ. Пусть всѣ они сгорятъ, съ своей вѣковой неправдой. Все пусть сгорить, я пусть сгорю. но только пусть этотъ послѣдній сонъ исполнится. Великанъ и нежити должны быть уничтожены. Обиженная мать должна быть отомщенной. Мщенія! Мщенья!

Грудь моя дышала легко. Я былъ не одинъ. Предо мною плясали дрожанія краснаго свѣта, и каждая вспышка была символъ, былъ голосъ, былъ знакъ. Они говорили со мной, и меня увлекали. Входили въ меня, какъ дыханіе жизни, веселое, свѣтлое. Великанъ еще живъ. и онъ стоглавый. Какъ его уничтожить? Какъ бы объ этомъ узнать? И я сладко заснулъ, опять, потому что я чувствовалъ, что сейчасъ я узнаю.

5

Мнѣ привидѣлась легкая стройная тѣнь. Она возникла предо мною какъ наклоненная ко мнѣ. Заглянувши глубоко въ мои глаза, она выпрямилась, и снова склонялась ко мнѣ. Точно она была жинцей или точно сбирала цвѣты, которыхъ не видитъ

тѣлесный глазъ. Я чувствовалъ, какъ отъ меня отпадаетъ все темное, и свѣтлою какъ мечъ дѣлается воля. Я чувствовалъ странную нѣжность къ этой благоволительной, нѣжно колдующей тѣни. И казалось мнѣ, что она похожа на ту измученную, за которую я хотѣлъ отомстить, какъ похожи двѣ сестры, одна—печальная, другая—свѣтлая, и одна до безумья замученная, а другая—полная веселаго безумія жизни и мести.

И, желая знать, я спросилъ, кто она. Свѣтлая во мнѣ запѣли свирѣли.— Я тѣнь твоей родной страны, я душа Народной Пѣсни, я мечта и сознательность дѣйствія. Я дамъ тебѣ два амулета, свѣтлый и темный. Одинъ возрождаетъ, другой отомщаетъ. Если ты будешь твердъ въ своей волѣ, ты вполне разрушишь злыя чары. Ты возродишь умерщвленную. Или ты отомстишь за нее. Пусть тучи чернѣютъ—сильнѣе гроза, полнѣй возрожденье. Пусть ярче горитъ пожаръ—онъ сжигаетъ все старое. Не жалѣй себя. Не жалѣй и другихъ, если они скупо жалѣютъ себя. И къ вамъ принесется молніевзорый Перунъ. Вы, люди—какъ змѣи. Вамъ нужно мѣнять свои кожи. Я сказала сейчасъ тебѣ—вы люди. Я раздѣлила тебя и себя. Нѣтъ, мы одно. Мы вмѣстѣ, насъ много, насъ тысячи, насъ миліоны, мы волны, мы стоны, мы тучи, мы крики, мы роковая громада, мы молніи. Къ намъ, и нами, и съ нами, летитъ солнцевая колесница. И люди глядятъ засвѣтлѣвшими глазами.

Отъ колеса солнечной колесницы
 Небесный огонь долетѣлъ до людей,
 Факель зажегъ для умовъ, въ ореолѣ страстей.
 Отъ колеса солнечной колесницы
 Кто-то забросилъ къ намъ въ души зарницы,
 Далъ намъ властительность чаръ,
 Тайну змѣиныхъ свѣчей,
 Для созванія змѣи
 На великій пожаръ,
 На праздникъ сжиганія змѣиныхъ изношенныхъ кожъ,
 Чешуйчатыхъ звеній,
 Когда превращается старая ложь
 И лохмотья затмѣннй,
 Во мракъ почномъ,
 Въ торжествующій блескъ самоцвѣтныхъ горѣннй,
 Тишина обращается въ громъ,
 И пляшутъ, съ Востока до Запада, въ небѣ, кругомъ,
 Синія молніи, синія молніи, чудо радѣнья громовыхъ лучей,
 Слившихся съ дрожью свѣтло-изумрудныхъ, хмѣльныхъ
 О, праздникъ змѣиный! |новизною змѣиныхъ очей.
 О, кольца сплетенныхъ,
 Огнемъ возрожденныхъ,
 Ликующихъ змѣи!

Мой сонъ измѣнился. Я былъ снова въ селѣ,
 но не въ зимнемъ, не въ осеннемъ, не въ весен-
 номъ,—въ жгуче-лѣтнемъ. Я былъ въ жаркомъ Іюлѣ,
 когда Солнце бываетъ на высшей своей точкѣ. Но
 Солнца не было видно, потому что небо было за-
 тянута сплошной пеленой, мѣстами темнѣвшей. И
 въ то же время, хоть Солнца не было видно, было
 то тутъ, то тамъ свѣтло, и въ сердцѣ моемъ было
 весело. Я видѣлъ внутренность простой избы, но
 она была какъ храмъ—какъ храмъ дѣтей Солнца,

бронзовыхъ людей Мексики и Перу: внутри было серебро и золото, хотъ кровля была соломенная. Въ этой простой женщицкой избѣ стояла она, женственный-дѣяственный призракъ, она, что назвала себя—душой Народной Пѣсни,—мечта и сознательность дѣйствія—Заклинательница грозъ. Она смотрѣла и молча думала, а мысли ея были слышны мнѣ.

Красной калиной покой свой убравъ,
Принеся въ него много лѣсныхъ, стрѣловидныхъ, какъ
будто отточенныхъ, травъ,
Я смотрю, хорошо ль убрана моя хата,
И горитъ ли въ ней серебро, ярко ли злато.
Все какъ и нужно кругомъ.
Мысли такія же въ сердцѣ, сверкаютъ, цвѣтятся огнемъ.
Сердце колдуешь.
Что это? Что это тамъ за окномъ?
Дрогнула молнія въ небѣ. Темнѣетъ оно? Негодуешь?
Или довольно, что въ этомъ вотъ сердцѣ пожаръ?
Вѣтеръ прерывисто дуешь.
Громъ.
Гулко гремитъ за ударомъ ударъ.
Длится размахъ грозового раската.
Свѣтится золотомъ малая хата.
И опоясанъ огнемъ,
Въ брызгахъ, въ изломахъ червленнаго злата,
Въ рокотахъ струнъ,
Стя алмазы продольнымъ дождемъ,
Въ радостяхъ бури, въ восторгѣ возврата,
Мчится Перуниъ.

Все кругомъ измѣнило свой видъ. Какъ простая изба превратилась въ храмъ, изукрашенный золо-

томъ и красноцвѣтностями, такъ и плоская равнина вокругъ стала измѣненной, изборожденной оврагами, рывинами и глубокими пропастями, пресѣчена и украшена зубчатой громадою горъ, между которыхъ дымились вулканы. Я видѣлъ хищныя агавы съ ихъ стилетными остріями. Я видѣлъ красныя цвѣты кактуса. Я слышалъ гортанную гнѣвную рѣчь и взрывы горныхъ ручьевъ, прорывавшихъ стѣны утесовъ и рушившихъ камни по уклонамъ стремнинъ. Страна кипѣнья и борьбы, страна вражды къ тому, что хочетъ вражды и не хочетъ другого. Безпощадность къ тому, кто не знаетъ пощады. Причудливый край. Тамъ четки, какъ страстная мысль, всѣ линии, всѣ очертанія. Тамъ ярки всѣ краски, какъ чувство.

Грозенъ звукъ гортанныхъ словъ,
Нѣтъ цвѣтовъ тамъ безъ шиповъ,
Безъ уколовъ или яда.
Хищный клочокъ вѣщихъ словъ
Манитъ слухъ, но въ немъ засада,
Какъ засада въ зыби взгляда.
Дротикъ мѣтко достаеъ,
Чуть коснется, конченъ счетъ.
Тамъ отравлены стрѣлы.
Лукъ постъ и достаеъ,
Чуть задѣтъ ты, ошѣлѣлый,
Ты ужь мертвый, ты ужь бѣлый.

О, святая вражда—къ тому, что хочетъ вражды, и не хочетъ другого. Я буду твоимъ вѣстникомъ, буду крикомъ борьбы, всенобѣдной звенящей струной, буду воплемъ, и стономъ, и плачемъ, и музыкой, слитыми въ мѣткій ударъ. Я вберу въ свой

взоръ всѣ исканія взглядовъ—и глаза мои будутъ властны. Я вброшу въ свой голосъ всѣ голоса—и голосъ мой будетъ какъ буря. Я хочу освѣженнаго міра, я хочу цвѣтовъ изъ молній.

И я съ мольбой обратился къ той стройной тѣни, къ той заклинательницѣ грозъ, которая назвала себя душою Народной Пѣсни:—Дай мнѣ скорѣе два амулета, свѣтлый и темный, ибо воля моя—какъ мечъ. И она дала мнѣ камень-электронъ, извѣстный Славянамъ ужь тысячи лѣтъ, и сказала строки заклія. И я повторилъ ихъ.

Электронъ, камень-алатырь,
Горючь-могучь-пштарь,
Гори. На насъ возстала Ушарь,
Отвратныхъ годовъ царь.

Завѣтный камень-свѣтозарь,
Рожденье волнъ морскихъ.
Какъ въ Морѣ—глубь, въ тебѣ—пожарь.
Войди въ горючій стихъ.

О, слитокъ горечи морской
И свѣтлыхъ слезъ Зари.
Электронъ, камень дорогой,
Горя, враждой гори.

Волна бѣжить, волну дробя,
Волна сильнѣй, чѣмъ мечъ.
Электронъ, я закліялъ тебя,
Ты, вспыхнувъ, сможешь сжечь.

И, отдавъ мнѣ свѣтлый талисманъ, она вздохнула, потемнѣли ея глаза, блеснули гнѣвомъ, и была

она въ ненависти еще свѣтлѣе и красивѣе, чѣмъ въ любви, въ лицѣ ея появилось что-то змѣиное, зачарованнымъ взоромъ взглянула въ мои глаза, тверже сковала мою волю, и дала мнѣ темный амулетъ. И, отдавая мнѣ этотъ камень-драконить, она сказала строки заклятія. И я повторилъ ихъ.

Темный камень драконить
Ужь не такъ хорошъ на видѣ.
Изумрудъ его нѣжитъ,
Въ бриллиантъ свѣтъ сильнѣй.

И нѣжитъ его опалъ,
И рубинъ предъ нимъ такъ аль.
И однако драконить
Тѣмъ хорошѣе, что вѣрно метить.

Чтобъ достать его, дождись,
Какъ ущербный Мѣсяцъ внизъ,
Надъ пещерой колдовской,
Желтой выгнется дугой.

Тамъ Драконъ въ пещерѣ спитъ,
Въ мозгѣ Звѣря драконить.
Гибокъ Змѣя, но мозгъ его
Неуклоннѣе всего.

Мозгъ Дракона весь въ узлахъ,
Желтый въ нихъ и бѣлый страхъ,
Красный камень и металлъ
Въ нихъ неразъ захохоталъ.

Темный въ этомъ мозгѣ сонъ,
Черной цѣпью скованъ очъ.
Желтый Мѣсяцъ внизъ глядитъ.
Вотъ онъ камень драконить.

Тише, тише подходи.
Въ снѣ Дракона не щади.
Замерь въ грезѣ онъ своей.
Мѣтко цѣлься, прямо беи.

Поразивъ его межъ глазъ,
Мозгъ исторгни, и сейчасъ
Предъ тобою заблеститъ
Страшный камень драконить.

Съ этимъ камнемъ на врага.
Рѣки бросать берега.
И хоть будь твой врагъ великъ,
Онъ въ водѣ потонетъ вмигъ.

Этотъ камень-амулетъ
Много дастъ тебѣ побѣдъ.
Вѣщій камень драконить,
Зеленѣя, мѣтко мститъ.

Этимъ камнемъ подь Луной
Понграй во мглѣ ночной.
Дальній врагъ твой оцутитъ,
Мститъ ли камень драконить.

Я спряталъ оба амулета, какъ лучшую свою святыню. Я зналъ, что теперь для меня открыты всѣ дали, всѣ просторы вольной жизни. Я обратилъ свои глаза къ Прекрасной. Она дала мнѣ единственный, священный, поцѣлуй—и скрылась какъ Заря среди воздушныхъ облаковъ—а я очутился въ тюрьмѣ, но въ душѣ моей было торжество.

Знать себя волной среди волнъ, звукомъ, и мгновеньями главнымъ звукомъ, въ слитной гармоніи бьющихся звуковъ, быть струной со струнами, быть молніей съ молніями—большаго счастья нѣтъ.

Извѣдать всю тяжесть, всю стиснутость гнета, и принять на себя вдвое большій стиснутый гнетъ, чтобы снять его съ другого, извѣдать десятикратный гнетъ—и однако же чувствовать себя легко—большаго счастья нѣтъ.

Узнать, что темныя лица, въ силу твоей добровольной жертвы, сдѣлались радостно-свѣтлыми, и что лживая низость стала правдиво-высокой—или отброшена къ самымъ низинамъ, гдѣ ей и мѣсто, измѣнить своей волей основы жизни—большаго счастья нѣтъ.

Я былъ въ тюрьмѣ, и зналъ это счастье, и больше у меня не было слезъ. Нѣтъ слезъ, кричалъ я съ торжествомъ.

Нѣтъ слезъ. Я больше плакать не умѣю,
 Съ тѣхъ поръ какъ посвященъ я въ колдуны.
 О, Вѣщая жена! Я вѣдалъ съ нею
 Вѣдовское. На зовъ ея струны
 Скликались звѣри. Говоръ человѣчій
 Былъ межъ волковъ лѣсныхъ. А межъ людей
 Такія, въ хрипахъ, слышались мнѣ рѣчи,
 Что нѣтъ ужъ больше слезъ въ душѣ моей.
 Кто тамъ подъ пыткой? Кто кричитъ такъ звонко?
 Молчу. Себя заклялъ я колдовски.

Мучь всѣхъ! Меня! Мучь моего ребенка!
Мольбы не будетъ. Кровь забьетъ въ виски.
Забьется въ головѣ какъ тяжкій молотъ.
Но слезъ моихъ тебѣ, палачъ, не знать.
Пусть будетъ самый сводъ небесъ расколотъ,
Ты проклятъ. Тверды мы. И эту рать
Не побѣдитъ палачествомъ убогимъ.
Мы все ростемъ. Стальнѣетъ пытка въ насъ.
Минуты время движуть кругомъ строгимъ.
Ты проклятъ. Проклятъ. Жди. Еще лишь часть.

Я былъ на свободѣ опять, на новой свободѣ.
Стѣны тюрьмы умѣютъ разрушаться — и во снѣ, и
на яву. Я былъ на свободѣ, и весело пѣлъ пѣсню-
заклятіе о трехъ былинкахъ. Мой голосъ былъ,
свѣжій и юный, и звуки его доходили до тѣхъ,
кто мнѣ не былъ виденъ.

Все мнѣ грезятся мысли о волѣ.
Выхожу я изъ дома самъ-другъ.
Выхожу я во чистое поле,
Прихожу на зеленый лугъ.
На лугу есть могучія зелья,
Въ нихъ есть сила, а въ силѣ веселье.
Всѣ цвѣты, какъ и быть надлежитъ, по мѣстамъ.
И мечту затаивъ въ себѣ смѣлую,
Три былинки срываю я тамъ,
Красную, черную, бѣлую.
Какъ былинку я красную буду метать
Такъ далеко, что здѣсь никому не видать,
За шумящее синее Море,
Къ краю міра, на самый конецъ,
Да на островъ Буянтъ, что въ кипящемъ просторѣ,
Да подъ мечъ-кладенецъ.
Зашумитъ и запынится Море.

А былинку я черную бросить хочу
Въ чашу лѣса узорнаго,
Я ее покачу, покачу
Подъ ворона чернаго.
Онъ гнѣздо себѣ свилъ на семи на дубахъ,
А въ гнѣздѣ томъ уздечка поконтя бранная,
На дубоныхъ вѣтвяхъ,
Заклятая, для сердца желанная,
Съ богатырскаго взята коня.
Упадетъ та уздечка, блестя и звени.
Вотъ, былинка еще остается миѣ, бѣлая.
Я за поясъ узорчатый эту былинку заткну,
Пусть колдуешь она, онѣмѣлая,
Тамъ завить, тамъ зашить, зачарованъ колчанъ,
Въ заостренной стрѣлѣ заложилъ я весну.
Тремъ былинкамъ удѣлъ побѣдительный данъ,
И мечта какъ пожаръ, если смѣлая.
Миѣ отъ красной былинки есть мечъ-кладенецъ,
Миѣ отъ черной былинки есть взнузданный конь,
Миѣ отъ бѣлой былинки мечтаній конецъ—
Есть колчанъ, есть стрѣла, есть крылатый огонь.
О, теперь я доволенъ, я счастливъ, я радъ,
Что на свѣтѣ есть врагъ-супостать.
О, на этомъ веселомъ зеленомъ лугу
Я навстрѣчу бросаюсь къ врагу!

Предо мной разстилалась вольная степь, предо мною мелькали луга и поля и лѣса. Я видѣлъ безмѣрность міра, который весь раскрывается, когда вольно подойдешь къ нему съ свободной, раскрытой душой. Вольныя рѣчки Славянской рѣчи ласкали мой слухъ, и качались, и зыбились, пѣли въ моей трепетавшей душѣ. Я чувствовалъ слитность Неба и Земли, великую радость бытія. Радость любви и

ненависти. Я, смѣясь, продолжалъ воровать, и стихъ мой, мой говоръ Народной Пѣсни былъ, какъ хмѣль, освободителенъ. Я пѣлъ На говоръ на Недруга.

Я ложусь, благословясь,
Встану я перекрестясь,
Изъ избы пойду дверями,
Изъ стѣнъ я воротами
Противъ недруга иду.
Позабывши о неволѣ,
Тамъ далече, въ чистомъ полѣ,
Раноутренней росой
Освѣжусь, утрусъ зарею,
И зону на бои бѣду.

Бѣлымъ свѣтомъ обнадеженъ,
Краснымъ свѣтомъ ооригожень,
Я подычуся звѣздами,
Солнце красное надъ нами,
И въ сіяющей краѣ,
Какъ у Господа у Бога,
Изъ небеснаго чертога,
Алый день встаетъ, ликуя,
Ненавистника сражу я,
Да возрадуются все.

7

Я весело шелъ впередъ, и не знаю, какой міръ былъ богаче, тотъ ли, который зеленѣлъ кругомъ или тотъ, который свѣтился и пѣлъ во мнѣ, въ душѣ моей. Я шелъ теперь по зеленому лугу. Въ концѣ своемъ онъ замыкался великой Водой. Великой текучею Влагой. Справа было болото, а слѣва

полноводная рѣка, въ которую впадалъ журчащій ручей, знакомый мнѣ съ дѣтства. Надъ ручьемъ была серебряная ива, а подъ ней, подъ ея трепетавшими листьями, росли камыши—и росли камыши на болотѣ, и всѣ они шуршали и шептались.

Шелестъ, и шорохъ, и шопотъ тѣхъ камышей, что росли надъ текучею влагой, которой можно было освѣжить себя, и тѣхъ камышей, что росли на трясинѣ, которая засасываетъ, слагались въ одинъ прерывистый говоръ, великій, безмѣрный какъ Тайна. И мнѣ казалось, что каждый камышъ говоритъ:— Если насъ срѣзать, и сдѣлать изъ каждой тростинки свирѣль, мы расскажем о тайнахъ Жизни и Смерти, и составимъ великую музыку, поющую музыку флейтъ. Насъ много, и мы побѣдимъ. Мы царимъ надъ другими звуками, и царимъ надъ Молчаніемъ. Съ полупрозрачныхъ намековъ на что-то, что мелькаетъ, скользитъ, убѣгаетъ, мы доходимъ до громкаго гула, до кричащихъ угрозъ, мы доходимъ до крика убитаго, и вѣдаемъ слово „Мщенье“. Мы шепчемъ, шуршимъ, шелестимъ, мы ждемъ своего мгновенья, насъ много, и мы побѣдимъ.

И, застывъ надъ Великимъ Теченьемъ, я понялъ съ восторгомъ, что два талисмана со мною, и что знаю я двѣ печали, и что красиво, красиво, отбросивши камень къ низинамъ, развернуть широкія крылья.

- 15) КЕННАНЪ, ДЖОРДЖЪ. Сибири! Въ двухъ томахъ. Полный переводъ. Ц. каждому тому 75 к.
- 16) МЕРЕЖКОВСКІЙ, Д. Вѣчные спутники. 3-е изд. Акрополь, *„Дафнисъ и Хлоя“*. 40 к. — *Ивонна*. 30 к. — *Кальдеронъ и Сервантесъ*. 30 к. — *Маркъ Аврелій, Плиній Младшій*. 30 к. — *Пушкинъ*. 40 к.
- 17) Грядущій Хамъ. 1 р.
- 18) Пророкъ русской революціи. 1 р. 25 к.
- 19) МЕТЕРЛИНКЪ, МОРИСЪ. Сочиненія. Въ трехъ томахъ, въ переводѣ Л. Вилькиной. Съ рисунками художника Н. К. Рѣриха. Томъ I. Съ предисловіями Н. Миксаго, З. Венгерской и В. Розанова. Съ портретомъ, исполненнымъ гелиографурою. 2 р. — Томъ II. Переводъ Л. Вилькиной. Съ иллюстраціями Ш. Дудлаз, Миннэ и Н. Рѣриха. 2 р.
- 19) МОГИЛЯНСКІЙ, М. М. Первая Государственная Дума. 1 р.
- 21) Усталые. Драма въ 3 д. 50 к.
- 22) МОГИЛЯНСКІЙ, П. М. Интернаціональ. Очерки рабочаго движенія второй половины XIX в. 15 к.
- 23) НИЦШЕ, ФР. Антихристианинъ. Опытъ критики христіанства. Переводъ В. А. Флеровой. подъ ред. А. Я. Ефименко. Спб. 1907 г. 75 к.
- 24) ПОССЕ, К. Курсъ дифференціального и интегральнаго исчисленій. 2-ое исправл. и дополни. изданіе. Въ двухъ частяхъ. Ц. каждой части 2 р. 25 к.
- 25) РЕНАНЪ, ЭРНЕСТЪ. Жизнь Исуса. Переводъ Е. В. Святловскаго безъ всякихъ сокращеній съ 19-го пересм. и дополн. изд. Съ портретомъ Ренана, исполненнымъ гелиографурою. 1 р. 50 к. Отдѣльно портретъ Ренана 20 к., съ перес. 35 к.
- 26) РЕНАНЪ, ЭРНЕСТЪ. Апостолы. Переводъ Е. В. Святловскаго безъ всякихъ сокращеній съ одиннадцатаго изданія. 1 р. 50 к.
- 27) РЕНАНЪ, ЭРНЕСТЪ. Антихристъ. Переводъ Е. В. Святловскаго безъ всякихъ сокращеній со второго изданія. 1 р. 50 к.
- 28) РОЗАНОВЪ, В. Легенда о Великомъ Инквизиторѣ. 3-е изданіе. 1 р. 50 к.
- 29) Около церковныхъ стѣнъ. Въ двухъ томахъ. Ц. каждому тому 2 р.
- 30) Ослабнувшій фетишь. Психологическія основы русской революціи. 20 к.
- 31) РОЙТМАНЪ, ДМ. Значеніе математики, какъ науки и какъ общеобразовательнаго предмета. Что должно составлять содержаніе элементовъ математики? (включая и высшую математику). 50 к.
- 32) СВЯТЛОВСКІЙ, В. Профессіональное движеніе въ Россіи. Спб. 1907 г. 1 р. 50 к.

- 33) СЕРРЕ, (Ж.-А.). Дополненіе къ „Теоріи круговыхъ функцій“. 60 к.
- 34) СОМОВЪ, І. Аналитическая геометрія. Изданіе четвертое, подъ редакціей проф. І. Сомова. Спб. 1907 г. 2 р.
- 35) ТРАЧЕВСКІЙ, А. С. Учебникъ новой исторіи (былъ истребленъ цензурою до выхода въ свѣтъ). 1 р. 75 к.
- 36) Новая Исторія. Томъ II. 1750—1848 гг. (была истреблена цензурою до выхода въ свѣтъ). 3 р.
- 37) ТЭНЪ, И. Происхожденіе общественнаго строя современной Франціи. Томъ I. Старый порядокъ. Въ переводѣ Германа Лопатина. Спб. 1907 г. 2 р. 50 к.
- 38) ЧЕРНЫШЕВЪ, В. Школьникъ. Русская учебная хрестоматія. Для 3-го и 4-го годовъ обученія. Спб. 1907 г. 60 к.
- 39) ШЕСТОВЪ, Л. Добро въ ученіи гр. Толстого и Ф. Нитше. (Философія и проповѣдь). Спб. 1907 г. 1 р.
- 40) ШНИЦЛЕРЪ, А. Діалоги: 1. Анатолю. — 2. Хороводъ. Переводъ съ нѣм. Изящное изданіе, съ рисункомъ на обложкѣ, исполненнымъ въ краскахъ. Спб. 1907 г. 1 р.
- 41) ЩАПОВЪ, А. П. Сочиненія. Въ трехъ томахъ. Томъ I, съ портретомъ Шапова, исполненнымъ фототипіей, 800 стран. 3 руб. — Томъ II, 2 р. 50 к. — Томъ III (печатается) (№ 20 Ист. Отд.).

„ТРИЛОГІЯ“ Д. С. Мережковскаго

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

„ХРИСТОСЪ И АНТИХРИСТЪ“,

состоящая изъ трехъ частей:

- 1) Смерть боговъ (Юліанъ Отступникъ),
- 2) Воскресшіе боги (Леонардо да-Винчи),
- 3) Антихристъ (Петръ и Алексѣй).

Цѣна I-ой части въ простомъ изданіи 1 р. 25 к., въ изящномъ — 2 р. —
 „ II-ой „ „ „ 2 р. 50 к. „ 3 р. 50 к.
 „ III-ей „ „ „ 2 „ — „ 3 р. —

Выписывающіе изъ Склада на сумму свыше 1 р. за пересылку не платятъ. —

Каталогъ высылается за 7-миноп. марку по первому требованію.

Stanford University Libraries



3 6105 012 135 229

PG
3453
B2B4
1908a

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUN 3 '70

OCT 25 '67

OCT 19 1970

